253
11

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

053
11

О ТОЛСТОМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1928

1386.

РА
Ф Толстой ЛН
92 (Т)
Ч53 / 11

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

О ТОЛСТОМ

СБОРНИК СТАТЕЙ

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА ЖУРН. ПРОФЕССУРЫ
№ 93865/16°

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА * 1928 * ЛЕНИНГРАД

ТИПОГРАФИЯ
„КНИГОСОЮЗ“
Москва, Петровка, 17.
Главлит № А 14708
Тираж 5.000. экз.
Заказ № 3139.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
93865/160 М

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В настоящую брошюру вошли следующие мои произведения: «Толстой и Маркс», которое представляет собою стенограмму моего доклада, имевшего места в 1924 г., изданного затем Институтом Истории Искусств и вошедшего в недавно выпущенный ГИЗ'ом юбилейный сборник статей марксистов о Толстом; затем предисловие к полному собранию сочинений Толстого в издании «Огонька». Это последнее представляет собою также стенограмму части моей лекции о Толстом, прочитанной в Свердловском университете в 1926 году. Последние три строчки этого предисловия возбудили довольно сердитую полемику. Ответ мой на статью тов. Раскольникова, заключавшую в себе критику моей точки зрения на Толстого, я также включаю в настоящую брошюру. Кроме этого включены более мелкие статьи. Все вместе дает, на мой

взгляд, сравнительно многогранную и правильную оценку Толстого, при чем общая его оценка совпадает у меня с точкой зрения Ленина на Толстого.

А. Луначарский.

ТОЛСТОЙ И МАРКС [1].

Тема настоящей статьи «Толстой и Маркс» выбрана мною не случайно. В настоящее время у нас, в России, — а в несколько видоизмененном виде и в других странах, — одними из основных идеологий, разделяющих человечество, являются марксизм и толстовство. Конечно, никоим образом нельзя зачислять всех врагов марксизма в лагерь толстовцев. Марксизм, как известно, есть идеология пролетариата, его классовая теория, могучее идеологическое орудие в руках рабочего класса в его борьбе с господствующим классом. Противостоит марксизму буржуазия со всеми разветвлениями ее идеологий и с теми народными массами, которые в силу своего невежества и социальной распыленности находятся под гегемонией буржуазии. Буржуазия как целое менее всего может быть обвинена в толстовстве, — она, как нам известно, империа-

---

[1] В основу статьи положена стенограмма доклада, читанного публично в 1925 году.

листична; она, залив землю кровью в последнюю войну, готовит новые неслыханные вооружения и ухищрения, которые в следующую войну, нависшую волей буржуазии над человечеством, должны произвести катастрофу еще несравненно более глубокую и способную поставить весь мир на край гибели.

Мы, марксисты, — в первую очередь, революционные, единственно подлинные марксисты-коммунисты, — ведем беспощадную борьбу с теми, которые сознательно отстаивают эти хищнические буржуазные позиции.

Идеологически никаких сил за буржуазией нет. Империалистическая буржуазия не может сама по себе придумать никакого оправдания своему существованию, своим тенденциям и тем преступлениям, которые она совершает. В последнее время буржуазия, можно сказать, отказалась от всякой апологетики, от всякой попытки морально защитить свой звериный облик. Конечно, угодливые журналисты и сейчас продолжают лить яд в умы и сердца масс, стараются влить туда патриотический дурман. Может быть, прав Владимир Ильич в своем пессимизме, когда он уже после империалистической войны говорил, что, быть может, при новом призыве буржуазии под разноцветные знамена отечества еще очень и очень многие рабочие вновь окажутся одураченными патриотическим лозунгом и пойдут убивать друг друга за интересы своих

эксплоататоров; тем не менее о серьезной идеологической борьбе здесь не может быть и речи — есть косность мнений, есть определенная привычка к целям, есть недостаточная разбуженность критики. Если бы все это было стерто, если бы это отошло в сторону, то массы увидели бы перед собой ничем не прикрытый облик торжествующего зверя и, несомненно, прониклись бы к нему достодолжной ненавистью.

Правда, есть подсобная идеология у буржуазии, именно — меньшевизм, т.-е. извращенный марксизм. Социал-демократический марксизм стал тем фиговым листом, за которым буржуазия скрывает свой стыд: она сама не решается выступать перед массами с активной пропагандой каких бы то ни было своих принципов, — она посылает для этого «социалиста», она посылает для этого «марксиста», которого массы согласны слушать, который говорит как будто бы на их языке, который начинает с фразы о классовой борьбе с буржуазией, но который таким образом начинает за здравие, чтобы кончить за упокой революции, заговорив рабочему классу зубы искаженным так называемым эволюционным марксизмом, который передает в руки фатальности судьбы ход вещей и взывает к пролетариату о терпении, об умеренности и аккуратности.

Меньшевизм с этой точки зрения есть, конечно, наш страшнейший враг, и мы посвящаем чрезвычайно много времени борьбе с ним: мы прекрасно

понимаем, что убить престиж меньшевизма в глазах масс – это значит завоевать массу. И наша тактика беспощадной критики меньшевизма, и наша тактика единого фронта, которую мы сейчас практикуем, и наша тактика суровой чистки наших собственных рядов от всякого сомнительного элемента, — все это есть по существу борьба с псевдомарксизмом — с меньшевизмом.

Он силен, — он является фактически одной из главных по удельному весу сил буржуазии. Из передовиков рабочего класса, из социал-демократического партийного аппарата буржуазия сумела сделать свою собственную агентуру, она зашла в виртуозности пользования меньшевизмом так далеко, что умнейшая и старейшая буржуазия мира — английская буржуазия — поручила даже было меньшевикам правительственную власть. Она ни одной минуты не ошибалась, думая, что в руках Макдональда задачи консервативной власти буржуазии отнюдь не будут скомпрометированы, потому что это будет только новая форма более гибкого обмана, более ловкого околпачивания рабочего класса и создания иллюзий в недостаточно политически развитой массе, будто Британией правит сам рабочий, так чего ж-де еще можно требовать? Так точно, как в течение последних полутора веков буржуазия надувала народ при помощи демократизма вообще, создавая иллюзии всеобщего голосования и мнимого выбора правительства мас-

сами в то время, как правительство было неизменно буржуазным, делало волю меньшинства и сковывало волю большинства, так и теперь, в новой стадии, буржуазия пытается создать социалистическое правительство, рабочее правительство с тем, чтобы и здесь точно так же, как под знаменем демократии, фактически незыблемо утвердить свою власть.

И все же толстовство есть то миросозерцание, которое должно стоять на втором месте в числе этих наших дополнительных врагов, — оно не имеет очень большого влияния на пролетариат, но оно имеет сильнейшее влияние на интеллигенцию и, что в некоторых случаях важнее, оно может оказаться нашим конкурентом в воздействии на лучшую часть крестьян не только в пределах Европы, но и в глубинах Азии. Я приведу два маленьких примера, чтобы показать, в какой мере толстовство является нашим конкурентом в деле завоевания этих чрезвычайно важных союзников трудовой интеллигенции и трудового крестьянства.

Во Франции существует крупный писатель Ромен Роллан, автор многих романов, повестей и публицистических работ, которые приобрели ему европейскую известность. Когда Р. Роллану было лет 25, он написал трогательное письмо Толстому, где он называл себя его духовным сыном, просил его благословения и указаний. Толстой понял по искреннему и талантливому тону письма, что ему говорит не первый попавшийся, — он чрезвычайно

внимательно и пространно ответил Р. Роллану. Недавно я читал в одной посвященной Р. Роллану статье такую, не лишенную знаменательности, фразу: «Лев Толстой был папой мировой интеллигенции и, сходя в гроб, рукоположил на этот пост Р. Роллана».

Действительно, к Р. Роллану еще до войны, — а в особенности во время войны, когда он занял строго пацифистскую позицию, — посылали письма, к нему приходили ходоки со всех стран европейского и внеевропейского мира. Р. Роллан и сейчас претендует на то, чтобы откликаться на всякие политические события. Недавно имело место столкновение, острое столкновение, между испанским фашистом Де Ривейра и крупнейшим испанским философом Унамуно. Правительство выслало Унамуно из Испании в Африку или на какие-то острова. Р. Роллан разразился интеллигентской буллой по отношению к Де Ривейра. Правда, и буллы настоящих пап казались не всегда особенно грозными тому или другому государю, и нужно думать, что булла Р. Роллана отскочит от медного лба Де Ривейры, но все же газеты мира, вплоть до самых консервативных, напечатали это письмо Р. Роллана. Оно подняло большой шум и показало, что моральный вес этого человека очень велик и сейчас.

В прошлом году или около двух лет тому назад Р. Роллан написал письмо другому крупному предста-

вителю французской интеллигенции, автору книги «В огне», Барбюссу, нашему товарищу коммунисту, блистательно даровитому писателю, написавшему книгу о войне, переведенную на все языки мира и безусловно сказавшую о ней самую жестокую и самую прямую правду.

Барбюсс упрекнул Р. Роллана в том, что он не понимает всей важности организации насильственного переворота, организации народных сил, п р о т и в силы буржуазии; он грозно ему предсказывал, что вооруженная до зубов буржуазия сохранит в своих руках всю ту цепкую организацию, при помощи которой она не упускала из-под своего влияния ни одного солдата и заставляла их питать своим телом вшей и умирать под шрапнелью, вести братоубийственную войну, что всем этим буржуазия может погрузить народы в такое же бедствие вновь и что никакими хорошими словами, никакой проповедью, никакими принципами здесь ничего не изменишь, что против этой силы, адской силы буржуазии, можно выступить только с оружием в руках и что тот, кто не готовится сопротивляться, кто не готовится вырвать власть из рук этого разложившегося, гибелью человечеству грозящего класса, тот является изменником делу человечества. И вот Р. Роллан с блеском толстовской аргументации выступил против Барбюсса с защитой чисто пацифистских положений. Одна часть европейской интеллигенции аплодировала Р. Роллану в силу своего убеждения,

потому что она считала, что пацифистская позиция, позиция непротивления злу и насилию есть единственно правильная, что она рациональна, что только этой добротой, этим идеализмом может быть провозглашен «божий мир» на земле и может быть на самом деле исключена возможность войны. Другая часть аплодировала Р. Роллану лицемерно. Она прекрасно понимала, что подобным учением можно продлить годы власти буржуазии, что оно является великолепным защитительным аппаратом для буржуазии, что она может спокойно, как за каменной стеной, управлять страной, пока гг. толстовцы и роллановцы будут стоять на своей позиции. Непротивление злу это есть выгодная форма оппозиции, по крайней мере, бесконечно более выгодная форма, чем «оппозиция» революционная.

Другой пример. Для нас сейчас чрезвычайно важно не только то, что делается на Западе, для нас важно и то, что делается на Востоке. Одной из замечательных заслуг Владимира Ильича было именно то, что он указал на неразрывную связь пролетарской революции с крестьянскими революциями в Азии. Гениальной мыслью Владимира Ильича было то, что европейский пролетариат сможет победить буржуазию, — при наличии разврата и закупленности верхов пролетариата меньшевистской тактикой, — только в том случае, если социальная революция передовых стран совпадет с революцией бедноты стран колониальных и полуколониальных;

поэтому мы одинаково чутко относимся к тому, что делается на Западе, и к тому, что делается на Востоке.

Гигантским резервуаром человеческих сил является Индостан с его 300 млн. населением, в $2^1/_2$ раза превосходящим население нашего СССР, втрое большим, чем население Соед. Штатов. Этот колоссальный человеческий резервуар переживает сейчас определенное кипение. Всякие русла прокладывает себе индусская революционная мысль: там есть и коммунисты, но в виду сравнительной неразвитости в Индостане индустрии — немногочисленные, хотя им в будущем предстоит оказать свое действие на националистическое движение в Индостане, захватившее огромное большинство туземного населения, передовые слои крестьянской массы, поскольку она тяжестью положения втягивается в анти-британскую политику. Вот эта националистическая толща разделяется на два течения: с одной стороны, активное, которое готовит национальное восстание, где, между прочим, имеется большинство политически-мыслящих мусульман Индостана, а с другой стороны — движение Ганди, с преобладанием адептов старой индусской культуры. Ганди приобрел в Индии популярность святого; Ганди вырос в грандиозную фигуру вождя значительнейших масс Индостана. Его тактика — толстовская тактика; конечно, есть разница между Толстым и Ганди, но только в деталях — в общем,

это настоящий индусский Толстой. Как видно, там идет дело о том, за кем останется победа: за мирным приспособленчеством — культурным движением, самым острым проявлением которого является бойкот английских товаров, или за организацией вооруженного восстания масс против британского владычества.

Вот два примера из разных областей, и из них ясно видно, что поскольку дело идет не о пролетариате — мы боремся в его недрах, главным образом, с меньшевизмом, поскольку дело идет о важных для пролетариата союзных силах, постольку приходится считаться с толстовским влиянием. Вот почему интересно разобраться в отношениях, существующих между толстовством и марксизмом.

Как социальное явление, толстовство — не новость: во всех тех случаях, когда появляется новая общественная формация — концентрация капитала, значительное богатство, рост торговли и промышленности, когда это проникает в какую-нибудь страну, там появляется движение, подобное толстовскому.

Остановлюсь на одном таком движении — очень древнем, и на двух-трех примерах из новейшей истории.

Не напрасно называют Толстого пророком — он в высокой степени похож на пророков библейских, потому что он является, несмотря на тысячелетия,

отделяющие его от пророков, повторением их, поскольку повторяются те же самые условия.

Чем объяснялось появление этих народных трибунов—библейских пророков, начиная со сказочных образов Илии и Елисея и т. д., до пророков, ближайших к нашей эре? Оно объясняется тем, что еврейский народ, первоначально номадный, потом постепенно осевший и превратившийся в земледельческий, подвергся воздействию окружающей культуры, был втянут, с одной стороны, в естественный процесс концентрации земель, которая всегда происходит в земледельческом быту, а с другой стороны — в широкий торговый оборот, и стал расслояться. В еврействе появилась аристократия, сложившая постепенно монархический образ правления и нажившаяся за счет беднейших братьев. Она перенимала нравы торгово-земледельческих стран и вместе с тем ту религию, которая соответствовала этому земледельческо-торговому быту, религию передней Азии, представлявшей собой культ плодородия земли, культ Ваалов и Астарт со всей относящейся сюда пышностью и развращенностью, чрезвычайно заманчивой и увлекательной для людей обеспеченных и представляющей собой много культурной красоты, много пышности и виртуозности ритуалов.

Еврейские богачи увлекались этой пышной стороной, так называемой «языческой» религии, и отходили от первобытной простоты. Одновременно

с этим шло пожирание домов вдов и сирот, проникновение пышности, пурпура и виссона, виношития и разного рода ароматов, золотых украшений и т. д., культа женской красоты, грации, сладострастия и отступления к чужеземным богам.

Все это была характеристика противоположного класса—зарождающегося капитализма, но капитализма очень первобытного, торгового — о подлинном индустриальном капитализме не могло быть и речи. И вот республика номадов, скотоводческая масса, резко протестует против этого нового, гнетущего ее порядка. Лучшие люди выступают с прямым политическим протестом. Низы протестуют против правов господствующего класса; они резко его осуждают; они заявляют, что старина с ее относительным равенством, с ее добрососедскими отношениями и всей простотой быта, который был ей свойствен, есть единственно рациональное и что, де, наш бог Ягве, национальный бог, военный бог союза племен, каким был древний Израиль, благословляет эту правду, а все другое — отступничество от него.

За бога пророки хватались, потому что по тогдашним временам иначе слово человеческое ничего не могло значить: не ораторы выступали перед народом, а одержимые в полуэпилептическом трансе, провозглашавшие какие-то чудодейственные слова, в которых видели говорящего через них духа. Иначе нельзя было действовать на массы; все принималось

в аспекте анимизма, воздействия на жизнь незримой мощной силы.

Это было серьзным протестом. В чем он заключался? В защите существующего, даже в стремлении повернуть колесо истории назад, но при этом независимо от ссылки на бога нужно было анализировать это прошлое, нужно было его прославить, представить в более сладостных и достохвальных чертах, а следовательно, нужно было превратить его в идеал, нужно было поставить его не позади себя, а отнести вперед, т.-е. прежний порядок, который кажется желанным в идеализированном, освященном виде, нужно было поставить как идеал, к которому должно стремиться.

Этим идеалом было мелкобуржуазное, мелкомещанское, мелкокрестьянское довольство, когда каждый под кущей, под своей смоковницей, каждый питающийся от трудов рук своих вокруг горы Сиона находился бы в полных добрососедских отношениях ко всем, а в силу этого божия правда и благосостояние воцарились бы, о каких бы социалистических идеях и проектах пророки ни говорили; да откуда бы их взять? Они говорили о равенстве, о парцелляризме, небольших хозяйствах. Это был кулацкий идеал, но кулацкий идеал в высшей степени развернутый, кулацкий не в смысле эксплоатации, а в смысле крепких хозяйчиков. Им кажется, что когда они живут в довольстве и добрососедских отношениях, мирно живут

в идеале, то это равносильно перевороту на всем земном шаре: даже волк может пастись вместе с ягненком, лев не тронет младенца и т. д. Тогда мир охватит всю землю, ибо добрососедские отношения мирно живущих своим трудом обывателей провозглашаются за основную, единую, незыблемую, важную и божию правду.

Перенесемся теперь гораздо ближе к нашему времени.

Франция. Французская революция объясняется, как вы знаете, ростом капитализма. Ко времени французской революции не только созрела французская буржуазия для того, чтобы потрясти основы и господство двух высших сословий, но она, вместе с тем, одновременно с этими сословиями страшною тяжестью легла на крестьянство и мелкое мещанство. Французская революция сама по себе составляла сложное течение: крупная буржуазия стремилась завоевать конституцию, сделаться господствующим классом, а с другой стороны — мелкая буржуазия временно столкнула крупную буржуазию и, опираясь на всю массу мелких собственников и лишенней собственности бедноты, плебса, почти пролетариев, смогла осуществить конституцию 93 г. и продвинуться очень далеко в смысле демократизма. Это объясняется именно тем, что под духовенством и раззолоченным дворянством шел слой крупной буржуазии, а под слоем крупной буржуазии недифференцированная масса, которую можно на-

звать до некоторой степени «народом», потому что тут смешались интересы крестьянства и городской бедноты всех разновидностей.

Когда готовилась революция, то крупная буржуазия нашла своих представителей в лице интеллигенции, в лице верхов интеллигенции, интеллигенции более или менее устроившейся, признанной, ведавшей делом общественного мнения. Передовою частью этой интеллигенции были энциклопедисты. Вольтер, Дидро, Даламбер, Гельвеций, Гольбах верили в цивилизацию, в культуру; они полагали, что дальнейший рост индустриальных богатств, научных знаний, земледелия приведет к расцвету на земле, что нужно покончить с нерациональным строем, вытекающим из средневековых предрассудков, и на основании последних слов науки построить человеческую жизнь.

Но мелкая буржуазия не так об этом думала. Она с большим негодованием смотрела на эту пышность, на науку, на искусство, поскольку оно ей только сулило, но ничего не давало, а в первую очередь, служило росту мануфактуры, крупной торговли, развитию большого капитала, который ее душил. Вся эта цивилизация, в сущности, гнездилась по пышным отелям, образцовым имениям или большим промышленным заведениям, магазинам крупной буржуазии. Поскольку швейцарский часовщик, полупролетарий, всю жизнь служивший секретарем или полулакеем, спасавшийся от ареста полиции, искав-

ший убежища, Жан-Жак Руссо, непосредственное порождение мелкой буржуазии, никогда не выходивший из ее среды, поскольку он продолжает линию библейских пророков в другой редакции, он говорит: «Это от сатаны, это — Каиново начало. Ваши богатства, ваш блеск, ваша цивилизация, ваше искусство, ваша наука—все это не нужно, нужна на земле одна правда». В чем она заключается? В равенстве. Установим хозяйственное равенство. Равные хозяйчики должны войти в договор друг с другом и на основании его создать государственный строй, который соблюдал бы равенство каждого, при котором ни одна единица меньшинства не смела бы протестовать против большинства. Такой строй принципиального господства большинства, господства равных, по мнению Жан-Жака Руссо, является настоящим раем. Сюда он вливает идеалистическое содержание, тут люди воспитываются согласно природе, здесь—возвращение к прекрасному человеку, которого создала природа, но испортила цивилизация; здесь — обновленная подруга-женщина, подходящая просто, по-матерински, великодушно, с грацией живого цветка к своим задачам, а не бездушная кукла, какою представляется цивилизованная женщина тогдашних верхов буржуазии и аристократии. Он открывает своего бога, он говорит: «Кто-то в моем сердце говорит, что люди должны быть равны. Кто-то говорит, что мы обретем великое наслаждение в жи-

вом труде, в единении с природой. Это – голос бога, который не нуждается ни в каких храмах, который живет в сердце каждого человека. Если ты, человек, перестанешь эксплоатировать ближнего, сделаешься честным тружеником на земле, то услышишь в своем сердце голос божий».

Англия. Несколько позднее, в ту пору, когда уже не мануфактура, не торговый капитал шел, а железной поступью наступала машинная фабрично-заводская индустрия и когда под ее чугунными стопами хрустели косточки изгоняемых из своих жилищ крестьян, кустарей и мелких конкурентов, в это время подымает свой голос английский пророк Карлейль, и мы слышим у этого Карлейля те же самые ноты. Он говорит: «Вы восстаете против барина, замка, против феодальных отношений, но во время феодализма барин должен был заботиться о своих крестьянах, у него было к ним живое отеческое отношение, потому что это был его людской скот, который нужно было кормить, холить, потому что поскольку он не заботился бы о нем, постольку он сам становился беднее, а ваше капиталистическое отношение абсолютно бездушное, которым вы в кратчайший срок стараетесь выжать из бедняка, из эксплоатируемой вами «фабры» все соки его организма и перелить в лишнюю золотую монету; вы берете беспощадно детей, и детские жизни бросаете в ваши машины, чтобы получить оттуда дешевый миткаль. Какое право вы имеете

говорить, что вы либеральны, что вы за свободу, что вы чем-то оправданы в вашей борьбе со стариной? Старина была лучше, потому что тогда жили по-божьи, а что такое бог и божьи заветы? Это заветы добрососедских отношений. При упорядоченных отношениях не надо конкуренции, бездушного отношения друг к другу, не надо бухгалтерии, вычислений, барышей, борьбы, в которой сильный побеждает слабого и думает, что так и полагается. Надо вернуться к первобытной системе человеческих отношений, надо вернуться к органическому существованию, к любви по отношению друг к другу».

Это все, по мнению Карлейля, предполагает религиозность, все диктуется внутренними чувствами человека, которые заглушены лязгом машин, фабричным свистом и звоном считаемых монет.

Я мог бы привести, конечно, большое количество такого рода примеров, но вы видите, что повсюду, когда происходит или ускоряется процесс продвижения новых начал цивилизации, всегда старый мир выдвигает из своей среды своих гениальных сынов, которые протестуют против нового мира, опираясь на старую традицию, но идеализируя ее, представляя не такой, какой она была, а рисуя ее в самой идеальной форме.

Присмотримся немного с этой стороны к толстовству, как к социальному учению: мы сразу увидим, что толстовство это как раз такой про-

роческий взгляд на вещи, если разуметь под пророками именно трибунов реакции, революционеров реакционных, т.-е. людей, которые революционно подымают знамя бунта против капитализма, но не во имя грядущего, а во имя прошлого, или иногда во имя прошлого, которое в преобразованном виде проектируется вперед, как будущее.

Действительно, Толстой идеализирует деревенские отношения по сравнению с городскими. Этому большому барину органически противно все буржуазное: ему противна индустрия, ему противна торговля, ему противна буржуазная наука, ему противно буржуазное искусство, все — от мелкого мещанства, от мелкого чиновничества, которое он по-барски презирает, до толстопузого купца, до чванного своей наукой какого-нибудь доктора медицины или какого-нибудь инженера, или изящной банкирши, или вообразившего себя способным управлять зазнавшегося министра, — все ему одинаково противно, все это не от того мира, с которым он был бы согласен жить в полном единении.

Можно было бы сказать, что первоначально социальный протест Толстого, — мы перейдем потом к его личному индивидуальному протесту, имеющему тоже, в конце концов, социальный характер, который сказался в его философском учении, — социальный протест Толстого есть протест барина против Колупаевых и Разуваевых, против пришествия чумазого капиталиста и чумазого интеллигента-разночинца.

Но этот великий барин — Толстой — не ищет учения которое дало бы ему возможность жить подобно Шеншину, который в качестве поэта Фета писал вирши, а в качестве Шеншина был крепостником. Как Фет-Шеншин, и он не прочь был поддержать дружбу с другими барами, которые стояли на точке зрения реакции, но сам-то он великолепно сознавал своим гигантским умом, что проповедывать барина это во всяком случае бесцельно и безнадежно, и не даст внутреннего удовлетворения. Об этом внутреннем удовлетворении придется еще поговорить. Поэтому, возвеличивая деревню, он прекрасно сознавал ее полярность. Что такое деревня? Барин и мужик.

Возвеличивать барина никак нельзя, потому что это значит возвеличивать чужеядного члена деревни — хищника; барин живет чужим трудом. О каком равенстве может быть речь, если провозглашать прежде всего начало барства — это начало, в котором лежит черта хищнической эксплоатации, которую Толстой старается установить как главное клеймо, как основное проклятие ненавистной ему буржуазии? Но мужичок — другое дело, он очень сродни хорошему доброму барину, который и на завалинке с мужичком посидит и покалякает; оказывается, что они приблизительно одинаково думают о необходимости урожая, о том, что какие-нибудь банки суть ростовщические лавочки, кулаки — кровососы и т. д. По отношению ко вся-

кой моральной и хозяйственной стороне им есть на чем сойтись, если не заговорить прямо о том, что их разделяет.

Все то, что Толстой мог, как идеальное, противопоставить буржуазному городу, это было крестьянство, как совокупность мелких хозяев, из которых каждый с своей семьей живет трудом рук своих, никого не обижая, живет от рождения до смерти выполняя свою прямую обязанность сажать капусту, есть капусту и вновь сажать капусту.

Это полезное житье-бытье крестьянское наполняется внутренним светом и огромным содержанием. Мы сознаем, что такой человек выполняет высшее предопределение, что он, не обижая никого и устанавливая мир на земле, тем самым, в сущности говоря, приводит к внешнему выражению великую правду о мире, любви и ладном сожительстве. Осуществил ты ее, и твоя душа наполняется сознанием глубокого покоя, который и есть, по существу, успокоение в боге, и самая смерть тебе тогда не страшна, потому что ты не носишься с собой, с своей собственной личностью, потому что ты не эгоист, не хищник, ты живешь, как живет растение, и также спокойно отцветаешь на лоне целого, великого «все-бога», из которого ты родился и в который отходишь. Это есть подлинное счастье, это есть тот социальный строй, который нужно рекомендовать.

Когда Толстой рисовал утопии, а он как художник прибегал для этого к метафоре, он изображал грядущий переворот с большой гениальностью, так, как он сделал это в «Сказке об Иване дураке». Иван-дурак заявляет, что он ссориться ни с кем не хочет, и когда чужестранцы приходят в страну Иванов-дураков и хотят ее завоевать, они не сопротивляются. Они говорят: ну, бейте, покоряйте, порабощайте нас, мы не будем сопротивляться и кончен бал!

Утопичность этой идеи бросается в глаза сразу. Совершенно ясно, что здесь какая-то внутренняя коренная ошибка, коренное заблуждение, о котором я еще скажу, потому что есть среди людей хищные и есть жвачные люди, и ясно, что проповедь жвачных отношений, проповедь непротивления есть проповедь на пользу хищникам, и что такой чужеземец, придя в страну Иванов-дураков, будет очень рад и скажет: хорошо, я на ваши шеи сяду и буду на вас ездить, и буду эксплоатировать и вас и детей ваших.

И вот, когда Ганди, проповедует в Индии сопротивление Британскому правительству, это очень хорошо, но когда он проповедует сопротивление в такой форме: вас учат сопротивляться с оружием в руках, а вы сопротивляйтесь путем долготерпения, — тогда Ганди фактически обезоруживает индусских Иванов-дураков и превращает их в пдлинных дураков, и Британское Правительство

может сердиться, когда Ганди проповедует, чтобы не покупали британский ситец и сырье, но норовит использовать Ганди со всеми онерами: пусть не покупают ситец, но терпеливо сносят все другие неудобоносимые бремена, которые угодно Британскому правительству возложить на индусских Иванов-дураков.

Толстой полагал, что такая утопия может осуществиться.

У Толстого есть внутреннее биение, раздвоение; будучи великим художником, а не простым публицистом, которые могут обманывать себя, принимать за чистую монету то, что они говорят, — он прекрасно понимает, что, в сущности говоря, внутренним содержанием социальной картины, которую он рисует, как идеал будущего, является уже прошлое, и он делает в этом отношении прекрасное признание в знаменитой «Сказке о зерне с куриное яйцо». Вы помните содержание: находят какой-то предмет с куриное яйцо величиной; никто не знает, что это такое; зовут старика; приходит дряхлый хромой человек, из которого песок сыплется; спрашивают его, что это такое? — «Я не знаю, — говорит, — но у меня жив отец, позовите его, он, должно быть, знает». Послали за отцом; за отца его сразу и не признали, он мужик крепкий, бодрый. Вошел он, посмотрел. «Не знаю, — говорит, — спросите у моего отца, он еще жив». Позвали и его отца — тот совсем молодец молод-

цом, почти молодой человек, никакая смерть не берет. Взял, попробовал на зуб и говорит: — «да это зерно! — такая пшеница в наше время росла». — «Почему такая пшеница?» — «Мы агрономов не знали, наукой не занимались, вели хорошее крестьянское хозяйство, земля и рожала».

Таким образом, Толстой прямо апеллирует к золотому веку, мнимому, никогда не существовавшему, и прекрасно это сам понимает. У Толстого есть некоторые социальные иллюзии, которые заставляют его думать, что Иваны-дураки как-то перетрут своих завоевателей, этих хищников. У них нервы, что ли, окажутся крепче! В роде того, как в христианском представлении: ударили тебя в левую ланиту, ты подставь правую, ударили в правую, ты опять левую, опять правую, опять левую, может быть враг, обьет руки, скажет: эх ты, чорт, какое долготерпение, ничего не поделаешь; даже усомнится после этого, почешет затылок, скажет:—может быть, неправ я, может быть, тут силой господней оказался мученик, оттого такое и долготерпение.

Нечто подобное есть у Толстого. Толстой верит, что при таком непротивлении совестно станет человеку насильничать, верит, что можно хорошими словами, поддержанными подвигом терпения, побудить злодея к тому, чтобы в нем проснулось настоящее божеское начало.

Владимир Соловьев, который был большим мистиком и почти православным человеком и стоит

в этом отношении более направо от нас, чем Толстой, имел с Львом Николаевичем беседу, в которой пришел прямо в ожесточение.

Толстой доказывал, что ни при каких условиях нельзя пускать в ход насилие.

«— Да, как же так, если вы видите, что какой-нибудь негодяй истязает ребенка, ну, что вы сделаете?

«— Уговаривать его буду.

«— Если уговоров не слушает?

«— Еще буду уговаривать.

«— Он замучает ребенка на ваших глазах.

«— Ну, значит, такова воля божия».

Потому что употреблять насилие нельзя ни при каких условиях. Упорство, сектантское упорство, которое проистекало из веры, что этим путем можно «переговорить» людей.

И не только один Владимир Соловьев приходил в негодование от этих слов. Действительно можно, в конце концов, выскочить из всякого «христианского» терпения, слыша подобные утверждения.

Прекрасную сатиру на Толстого создал Щедрин в знаменитой сказке «О карасе-идеалисте и ерше». Под ершом колючим описывает Щедрин реалиста, человека себе на уме, который знает, где раки зимуют, а идеалист-карась, философ, все растабарывает с ершом на всякие высокие темы. Ерш и говорит: «— Проколю я тебе иглой пузо, потому что очень уж тошно от твоих разговоров, никогда

эти разговоры ни к чему доброму не приводят, а вот заглянят скоро щука в нашу заводь, она тебе покажет».

«— А что такое такое щука?—говорит карась,— я знаю такое слово, что она обалдеет и обратится в мою веру». Тут, смотришь, щука и явилась. Карась к ней: «— А знаешь ты, щука, что такое правда?» Щука до того удивилась, что потянула в себя воду и проглотила карася.

Это верно, так и бывает всегда. Фактически совершенно невероятна утопическая вера в то, что возможно через посредство мирной пропаганды переделать мир.

Очень странно на первый взгляд, что такой человек, как Толстой, не ставит перед собой некоторых первоначальных задач. Он полагал, что в каждом человеке имеется искра божия, искра добра, которую нужно уметь раздуть, на которую нужно уметь подействовать, и что этим путем, в конце концов, он и ученики его смогут переделать мир. Он так думал, как социальный реформатор, но потом мы увидим, что он был не только социальным реформатором. Он ставил высоко Евангелие, он ставил высоко и Конфуция, и других мудрецов, но особенно Евангелие и Иисуса, в историческую личность которого крепко верил.

Удивительно, почему Иисус, Евангелие, первые апостолы, которых так обожал и так высоко ставил Толстой, почему они ни капельки человечество

не переделали? Прошло около двух тысяч лет, а человечество, по мнению самого Толстого, осталось таким же преступным, чванным, погруженным во всевозможные пороки. Почему же нам надеяться, что Толстой с его учением за другие две тысячи лет добьется большего? Если более сильные, каким признал он Иисуса, не могли, то не смогут сделать и другие. Сколько мир стоит, социальная неправда существует, все время возникают проповедники и говорят свои карасьи слова, и все время их либо игнорируют, либо проглатывают, а щучье царство стоит себе непоколебимо.

Теперь мне нужно подойти к толстовству с несколько другой стороны. Все это кажется нелепым, если излагать как социальное учение, но это было не только социальное учение, это была жажда найти внутренний мир для самого себя и вместе с тем найти путь к этому внутреннему миру и преподать этот внутренний мир всем жаждущим.

Толстой, как барин и высоко культурный барин, страдал не только от зловония этой самой чумазой культуры, он страдал еще от страшной болезни, — индивидуализма.

Толстой был невероятно ярко выраженной личностью, поэтому он и мог сделаться великим художником и, как великий художник, был наделен необыкновенной, по сравнению с нормальной человеческой степенью, восприимчивостью ко всем внеш-

ним впечатлениям, огромной глубиной эмоциональных переживаний.

Это был человек огненных страстей, и жизнь деставляла ему безумное удовольсгвие.

Я мог бы привести множество красноречивых страниц, где вы чувствуете, какое блаженство для Толстого жить, ощущать тепло и холод, запах и вкус, видеть перед собой природу, с каким наслаждением он рассказывает о том растении, которое избили, иссекли со всех сторон и которое все-таки хочет жить во что бы то ни стало, сопротивляется.

Жажда жизни, самоутверждения была у Толстого поистине исполинская, и этот маленький по росту человек производил впечатление кипучего источника энергии. Может быть, никто так хорошо не дал живого портрета Толстого, как Максим Горький, который с чуткостью большого художника сумел восстановить не елейного старца в роде «господа бога-отца», а подлинного Толстого, кипящего страстью, с вечным сквернословием, с энергичными нецензурными выражениями на устах, с ненавистью по отношению к несогласно мыслящим, готового лезть в спор, противоречащего самому себе, потому что потом, после, он кое-как выравнивал эти противоречия, но внутри его они дико клокотали. «Это не человек, — говорит Горький, — «а колдун какой-то по силе ума, по богатству дарований духовных!»

Если каждый человек хочет жить и не хочет умереть, то тем более интеллигент, у которого личность выпирает на первый план, который живет своей оригинальностью; если он художник, адвокат, врач, то оригинальность есть его орудие завоевания определенного социального смысла бытия; такой интеллигент больше дорожит своею жизнью и больше боится смерти; он с тоской обращает свои взоры к крестьянину, дикарю, к животным, которые не боятся смерти.

И Толстой с напряженной жизнью, бьющей фонтаном, как гейзер, особенно любил жизнь и боялся смерти. Это в нем доминирующая нота — неистовый страх смерти. Как это так будет, что прекратится этот чарующий поток жизненных впечатлений,— это великая проблема для Толстого. Как найти покой, не обуреваться ужасом того, что все проходит, все течет, все тает, ничего на самом деле не существует, ни я—Лев Толстой, ни окружающие дорогие люди, ни природа—не прочны, ничего нельзя остановить, все изменяется, разрушается, все есть беглый призрак, образ, написанный на дыме,

«Я это сознаю, сам вижу как я таю, как жизнь бежит у меня между пальцами. Всегда можно видеть, как «это» пробежало, промчалось и нет ничего, нуль, дыра, небытие».

Это мучило его несказанно, и в дневнике он, вечно к этому обращается. Когда он прочел дневник одного западно-европейского писателя Амиэля,

ни о чем не говорившего, кроме как о страхе смерти, он сказал: это настоящий мудрец! Человек, который может забыть о смерти, это, по мнению Толстого, уродливый человек, это тупой человек, не ставящий себе центральной проблемы, но, может быть, и счастливый человек. Потому что нельзя быть спокойным. Надо искать бессмертия. Где же искать этого бессмертия?

Другой интеллигент, тот же Владимир Соловьев, искал его в метафизике. Верь, говорил он, верь в то, чему учит церковь. У тебя бессмертная душа, что там сомневаться!

Но Толстой был слишком умный человек, он и после того, как создал гигантскими силами лестницу, по которой подобрался к идее бессмертия, более или менее еще сомневался.

У него на самых поздних страницах дневника есть заметки: «Сегодня плохо верю, господи, помоги моему неверию». «Утром проснулся с твердой верой в бога, знаю, что все, чего чаю, исполнится, благодарю бога за оказанную помощь». И через два дня: «Страшными сомнениями обуреваюсь»... и т. д. до самых последних дней так [1].

Надо было эти сомнения вдвинуть в какое-то другое русло. Тут наступает большая работа для этого самого барина, который, как интеллигент, стараю-

---

[1] Всюду в кавычках не цитаты, а перефразы, по смыслу, однако, точные.

щийся победить свою индивидуальность, проходит такой же путь, ищет успокоения в идеале христианском. Он рассуждает: все в мире бегло, преходяще, смертно, но, может быть, есть вечное, незыблемое, непреходящее, всегда себе равное? Если бы что-то подобное можно было найти, то надо было бы целиком к нему прилепиться. Прилепиться к этому вечному, непреходящему, всегда себе равному — это значит найти спасение. Найти в себе такое вечное, значит найти в себе бессмертие. Стало быть, надо искать. Вообще веру, скажем ту, которой учит православная церковь, нельзя признать. Это нечто преходящее, источенное, зараженное всякой ложью.

Вы знаете, Толстой был беспощадным врагом церкви, всяких церковных обрядов. Он умел своими сверлящими зеленоватыми глазками посмотреть на вещи так, чтобы прожечь их как купоросом. Он шел в театр на Вагнера и писал о том, что видел, и все выходило так глупо, что всякий говорил себе: как я мог сидеть и думать, что это искусство? Все эти раскрашенные картонажи, эти актеры, которые широко открывают рот, поют чепуху, все эти куклы, это годится только для детей, да и для детей скучно, и при этом звенит медь, пиликают скрипки. Все это, по мнению Толстого, сумбурно. Такими описаниями он лишает произведение всякого аромата.

Также точно говорит он о суде. Приходят люди судить человека, разбить ему жизнь из-за про-

ступка, вытекающего из сложнейшей личной его драмы, из законов социальной природы. И судьи — жалкие чиновники, одни переговариваются, другие переваривают пищу, один недоволен женой, другой ковыряет в зубах. И вся процедура изображена строго правдиво, так, как на самом деле.

Также относительно церкви. Вот приходит священник, надевает парчевый мешок, который является вид-мундиром чиновников византийских царей в известную эпоху, производит разные манипуляции, ненужные, которые представляют искаженное повторение хозяйственных манипуляций давнего прошлого. Все это пошло и нелепо. Только потому, что люди не могут просто посмотреть на вещи, они могут продолжать думать, что тут есть смысл, есть какая-то поэзия.

Так глядя на вещи, Толстой все разрушает вокруг себя. Вокруг него одни развалины: монархия, патриотизм, суд, наука, искусство, — все разрушено, подлинно как в одной сцене «Фауста» хор духов поет: «Великий, ты разбил как шар стеклянный весь круг вселенной». Так можно было бы петь о том ударе, который наносил Толстой с меткостью и холодной злобой всему тому, что старалось его прельстить. И делал он это для того, чтобы добиться какой-то сердцевины, которая постоянна.

В чем же заключается эта постоянная сердцевина? Социальные наблюдения и индивидуальные наблюдения над самим собой научили его, что

борьба за удовлетворение своих страстей с другими людьми, конкуренция в самом широком смысле этого слова есть главное зло, то, что беспрестанно тревожит человека, что выводит его из равновесия, что в нем мучительно.

Нечего удивляться, что к этому Толстой пришел, это обычно, так и Сидар-Гха-Будда пришел к тому же выводу. Такой же барин, человек чуждого мира, также смотрел он на всю склоку общественного строя. Нельзя ли уйти от этого тем, что перестать бороться за свои эгоистические цели? Тогда можно приобрести мир, покой. Страсти, вот что не дает мира и покоя.

Может ли быть жизнь без страстей? Может быть. Это если отойти совершенно от всякой любви к каким бы то ни было внешним благам, перестать ценить их, нагромождать и заменить их любовью к людям. При чем эта любовь у Толстого невелика, нельзя сказать, чтобы он страстно любил людей и высоко их ставил. В конце жизни он говорил: собственно не следует учить, все равно ничего хорошего не выйдет, а надо душу спасать, позаботиться о себе самом. Впрочем, в лучшую пору жизни он говорил, что нужно заменить вражду любовью к людям, что нужно считать позором и грехом обидеть другого человека. Уступи, отойди — в этом любовь к людям, избегай столкновений с братом твоим — человеком из-за каких бы то ни было благ, ибо все эти блага мнимые. Вот тогда

как-будто выйдет так, что человек ото всего временного упасется, внутри его будет какая-то успокоенная жизнь.

Тогда Толстой старался найти в себе такую успокоенную жизнь, найти мир, он признавал, что он ее обретает, что он как-то близок к этому, что в лучшие моменты он таким образом находит действительно подлинный покой.

В этом есть некоторая глубокая правда; само собой разумеется, что нынешний человек мучится житейскими треволнениями. Если он сумеет своеобразно себя загипнотизировать и все треволнения отбросить, то на некоторое время действительно наступает безоблачная тишина внутри. Эту тишину Толстой бесконечно ценил, и в ней он признал путем некоторого насилия над собой, — он в этом признавался, — подлинное бытие, настоящую сущность, святую жизнь или «жизнь в боге».

Тот внутренний покой, которого человек может добиться ценою любви и заключения мира со всем окружающим, наполняется сейчас же светом радостного существования, беззлобного и не стремящегося ни к каким внешним целям бытия, а его социальный идеал — христианский, — об этом он сам говорит, — заключается в том, чтобы каждый жил трудом своих рук, никого не задевая, не стараясь сделаться богатым, ни к чему не стремясь, как только к тому, чтобы продолжать свое собственное существование; вот постольку Толстой провозгла-

шает жизнь ладом. Он — крестьянин — знает бога, потому что и бог его знает, этот идеализированный крестьянин, такой мужик, какой должен быть, своими руками себя пропитывающий, беззлобный и мирный сосед.

Так заканчивается круг, своеобразно в русский цвет окрашенных, толстовских идей, родственных идеям Руссо, Карлейля, Лао-цзы, Будды и всех мыслителей, которые знаменовали собою подобные моменты культурного развития, каждый в своей стране, в свою эпоху. Открыв эту истину, Толстой начинает проповедывать.

Теперь, что такое представляет собою марксизм.

Марксизм есть учение, свойственное пролетариату. Это есть учение, приспособленное к классовым интересам пролетариата, но именно потому совершенно обьективно рисующее действительность. Тут сразу нужно сказать, как оно относится к противоположному миру — нетолстовскому. Оно приемлет цивилизацию полностью, приемлет полностью и науку, и искусство, и даже богатство, накопление богатств — капитализм. Марксизм есть порождение города, а не деревни, он смотрит вперед, а не назад. С Толстым он встречается в одном — в жгучей ненависти к буржуазии, потому что буржуазия сделала свое дело и стала вредна. Все противоречия, порожденные строем города, так же понятны марксисту, как и толстовцу; из этих внутренних противоречий нарождается борьба элементов, кото-

рая в дальнейшем приведет к победе над старым миром, но не путем отказа от науки, искусства, цивилизации, индустрии города — не путем поворота назад, а путем дальнейшего развития. Это дальнейшее развитие приводит за собой разорение, обеднение крестьянства и мелких собственников и порождение лишенного всякого имущества пролетариата, последнего из классов.

Но этот последний класс работает на машинах, представляющих собою осуществление передовых слов науки, работает при помощи гигантских органов труда, начинающих одерживать подлинную победу над природой, он работает огромным коллективом на мировой рынок, и все это создает почву для всемирного пролетарского объединения, которое сможет вырвать науку, прикладную технику, всю совокупность цивилизации из рук классов, употребляющих ее для своих интересов в корыстных целях, и превратить ее в орудие всего человечества. Тогда, вооруженные этим орудием, мы сможем победить природу и со сравнительно небольшими затратами труда добиваться всего того, что нам нужно для полного удовлетворения наших потребностей. И когда эти непосредственные животные потребности будут удовлетворены, в верхнем этаже этого мира равных, где каждый есть собственник общего производственного имущества, мы построим цивилизацию свободных личностей, у которых не будет причин для борьбы друг с другом, и которые

могут вместе расцвести в великолепное разнообразие типов на уже организованном производственном процессе. Таково миросозерцание марксизма.

Первое возражение, которое толстовство может сделать, таково: вот вы упрекали Льва Николаевича в непонимании, что много лет прошло после Евангелия, а люди не переделались, несмотря на всякие проповеди, в лучшую сторону. Ну, а вы? Вы тоже должны знать, что революционных попыток насилием создать человеческое счастье было немало, почему же вы ждете, что возможно для большинства, вырвав вооруженной рукой цивилизацию из рук меньшинства, создать совершенно новую, небывалую эпоху в истории человечества?

Это возражение падает.

Никогда не было в истории человечества такого расцвета науки, как в XIX — XX столетиях, такой фабрично-заводской промышленности, никогда не было таких путей сообщения, никогда не было капитализма в его нынешних формах. Человечество не просто растет, переходя из детского состояния в зрелое, — есть известная волна подъемов и снижений, развития цивилизаций и их разложения, но когда мы исторически, конкретно обозреваем пути прошлого человечества, мы видим, что в отношении науки и индустрии оно шло вперед и доросло до такой вершины, на которой никогда, конечно, не стояло.

Вообще, если бы во все другие времена социализм победил, если бы свершилось такое чудо, и бедняки

разделили бы тогдашние орудия производства, разделили имущество богатых, то мир от этого, пожалуй, сделался бы еще беднее. Но сейчас мы можем сказать, что при правильном употреблении нынешних орудий производства можно добиться достатка для всех; только сейчас может быть разрешен вопрос о том, чтобы добыть у природы столько пищи и других необходимых благ, чтобы человечество было богато. Если человечество сейчас еще не богато, то только потому, что нынешняя наука и нынешняя техника, которые так быстро развиваются у нас на глазах, употребляются в корыстных целях обогащения отдельных капиталистов и при наличии конкуренции между отдельными трестами, национальными капиталами и т. д. Таким образом, это возражение отпадает.

Тогда приводится другое возражение такого рода: ну, допустим, что вы сможете таким путем урегулировать вопросы желудка, но вы грубейшие материалисты, какие только есть на свете, вам только и интересно, чтобы брюхо у всех было набито, и это ваш высший идеал, а мы хотим найти покой, бога обрести в себе; для вас ничего этого не существует, только одна сытость.

Мы отвечаем, что это ни откуда не следует. Из того, что мне хотелось бы, чтобы каждый мог ежедневно пообедать, не следует, чтобы он жил исключительно для обеда, а наоборот, именно для того, чтобы он работал, мыслил, наслаждался жизнью, он

должен обедать. Человек живет не для того, чтобы питаться, но без питания не может жить.

Эта задача общественного питания, общественных жилищ, общественной одежды, эта задача урегулирования первоначальных основ быта в высшей степени важна, да и толстовцы этого не отрицают, потому что и в их идеале мы находим людей, которые трудом рук своих все-таки находят себе сносное существование. Мы тоже не предполагаем, что в этих материальных благах, самих по себе, заключается самоцель, но мы говорим: когда эти вопросы будут разрешены и отпадут, когда экономические порядки сделаются чем-то самим собой разумеющимися, тогда выступят на первый план высшие потребности человека, потребности в знании, творчестве, любви к другим людям, завоевание природы теоретическими знаниями и практическое.

На это возражают: вы не даете настоящего решения вопроса. Почему вы думаете, что социалистическое разрешение экономических задач приведет непременно к гармонии людей между собой? Почему люди сделаются тогда л у ч ш е?

На это мы возражаем опять-таки совершенно резонно: мы так же, как и вы, не верим, что человек от природы зол. Если бы мы в это верили, мы думали бы, что добро состоит в том, чтобы разными скорпионами его перевоспитать, что его нужно отдать в выучку не столько педагогам, сколько

палачам, которые бы держали его в цепях, как бешеное животное, каленым железом выжигали его пороки. Но мы верим, что «искра божия» (почему «божия»? гг. толстовцы) есть в человеке, т.-е., что он представляет живое существо, которому нет надобности злобствовать и терзать другие существа, если его потребности удовлетворены; человек человеку нужен, когда нет причины враждовать, — человек человеку приятен, как друг, как сотрудник, как предмет его любви, как его ребенок и т. д. Во внутренних семейных отношениях, там, где семья одна, где нет внешних причин для раздора, там вы встречаете то, что называется высоким именем братства.

Почему нельзя представить себе жизнь человечества как братство, как семью, в которой все братья и сестры?

Да только потому, что существует частная собственность и конкуренция: брошены кости, за которые грызутся люди, и костей недостаточно, — если не будешь грызться, пропадешь! И в этой борьбе возникают громадные состояния; владеющий ими человек боится упустить их из рук и должен громоздиться вверх, чтобы удержать занятую им позицию. В результате мы видим всеобщую свалку, хищнический мир частной собственности ее создает. Как только это будет прекращено, никаких препятствий к тому, что вы называете «искрой божией», а мы естественным характером, человека,

как животного, не будет и он даст самые лучшие плоды.

Мало этого. Социалистический строй представляет собой не только отсутствие необходимости враждебной конкуренции, но и колоссальную организацию сотрудничества: труд каждого ведет к обогащению всех и труд всех к обогащению каждого; это создает прочную основу для экономической солидарности и нет никакой опасности, чтобы эта солидарность должна была как-нибудь нарушиться.

Следующее возражение толстовцев: ну, хорошо, но вы хотите облиться кровью, облить других кровью. Допустим на минуту, что это правильно, и что социализм создаст новые условия, и что можно на основе индустрии, вырванной социализмом из рук капиталистов и превращенной в орудие всего человечества, создать всеобщее довольство. Допустим, что люди смогут тогда жить согласной жизнью, но через какие жертвы это идет? Вот сейчас, в недавние годы, когда была гражданская война и красный террор, в это время толстовцы со своим пацифизмом свирепствовали среди нашей обывательской интеллигенции, они говорили: где этот социализм, где это всеобщее довольство, получили ли вы что-нибудь, лучше ли жить? Обыватель отвечал: «хуже, во сто раз хуже, одни обещания, что будет лучше, а на самом деле теперь хуже, идем в крови по горло». Если эти обещания

даже и исполнятся, то стоит ли совершать все эти ужасные преступления, все это братоубийство, чтобы получить какую-то коммунистическую действительность? Хор обывательский голосит: «не стоит, никоим образом не стоит!» Хотя большая половина обывательского хора не говорила бы так, если бы был не красный террор, а белый, и меры насилия применялись с другой стороны. Но эта половина просто представляет классовых врагов, а мы будем говорить о тех, кто искренне убежден, будучи промежуточной группой, что можно по-хорошему, мирно, пацифистски разрешить эту проблему.

На это можно сделать два возражения: во-первых, вопросы социальной жизни не зависят от воли отдельных людей, это есть исторический процесс, который имеет свои законы, а потому хочет или не хочет этого Толстой или Маркс, но когда низы человечества, униженные, оскорбленные, затоптанные, подымаются, когда в их сознании возникает и крепнет мысль, что они в состоянии взять за горло тех, кто их угнетает, — они перестают слушать пацифистов и берут за горло угнетателей, и закипает страшная вражда. Тогда возникает вопрос: уйдешь ли ты от борьбы для сохранения чистоты своих одежд или поймешь, что в этой борьбе, в которой еще неизвестно, кто победит, каждый лишний адепт есть величина, которая должна быть практически учтена?

Владимир Соловьев спрашивал Толстого, что будешь делать, когда истязают ребенка? А мы говорим: как можно быть безучастным, если человечество поднялось на последний бой, чтобы вырвать его в числе бесчисленных миллионов и грядущих поколений из ужаса того мира неправды, который и вы, толстовцы, осуждаете? Можно ли, раз борьба закипела, путаться между ногами и говорить: перестаньте бороться, зачем бороться? Это будет не чем иным, как пустой тратой слов и осуждением себя на историческую бесплодность.

Но допустим, что дело зависело бы от нас, что вопрос шел бы об историческом процессе, зависящем всецело от нашей воли. В этом случае при сознании, что либо человечество будет плестись прежним шагом по историческому кругу, безысходно испытывая все ту же бесконечную тяжесть нищеты, болезней, пороков, невежества, под которыми оно гибнет, либо необходимо рвануться для того, чтобы разбить этот жизненный круг и из него выйти, если бы для этого даже нужно было заплатить тяжелой ценой крови, неужели мы не выбрали бы второго?

Бывают обстоятельства, когда останавливаться перед жертвами нельзя.

А какая нежность проявляется здесь у толстовцев, как они начинают ценить отдельную личность и отдельную жизнь, как они забывают все свои слова о выше жизни стоящей цели, все свои речи о подвижничестве!

Надо помнить, что человек способен на героизм, и это, может быть, нечто наиболее святое, что в нем есть, способен посмотреть на себя не как на самоцель, не как на последнее звено, бытия, перенести центр своей любви на громадное строющееся дело, и на себя посмотреть как на строителей, как на камни этого строения, как на элемент, входящий в огромный поток, вал, устремленный к организации грядущего, и тогда станет ясно, что если нет никакого другого процесса кроме социально-хирургического, кроме определенного столкновения одной воли против другой, кроме хирургической очистки тыла для того, чтобы не сломлен был всей зараженностью тыла наш святой гражданский фронт, если нет другого исхода,— мы берем на себя с внутренним сознанием своей правоты этот крест.

Тот кто осуждает на смерть других, а сам не готов умереть за великое дело, отвратителен. Но тот, кто понимает, что и человечество переживает кризис, во время которого все поставлено на карту, и в случае неудачи будущее бесчисленных поколений может пойти по рабской дороге, а в случае победы по дороге освобожденного от экономических оков человечества, какими мы быть не можем, вследствие чего мы себя не очень и ценим, но какими нашими страданиями, нашей борьбой могут быть наши дети и внуки, мы, конечно, не сомневаясь ни минуты, выберем борьбу и победу.

Вот тут наше центральное разногласие, и вот почему. Здесь сшибаются между собой два миросозерцания. В современной Германии интеллигенция пришла в великое внутреннее колебание, она ненавидит буржуазию, которая дала ей войну и разгром, она ищет путей внебуржуазных и она распадается, в лучшей своей части, на два русла. Одно идет в направлении коммунизма и хочет сплотиться с левыми группами пролетариата, старается завладеть вниманием и сочувствием масс и произвести переворот, хотя бы он затянулся на 10—15 лет, хотя бы он был тяжел, но рвануться к настоящему свету, к рациональной организации человеческого быта, руками нащупать, не только глазами видеть правильную хозяйственную организацию человека на земле и сокрушить тех, кто стоит на дороге и из своекорыстных целей не дает человеческим массам добраться до разумной жизни.

Другие говорят: мы напуганы войной.. Еще раз кровопролитие?.. Да будет ли победа? Стоит ли вообще? Не лучше ли провозгласить сопротивление внутреннее, поискать пути святости, единения с миром иным? Есть другой мир, в который мы придем вратами смерти или через посредство экстаза. Начинается игра с мистикой, в которой центральное место занимает Толстой именно потому, что он не апеллировал к легковерию, что он говорил как будто вещи рационалистические, почти не упоминал о потустороннем мире... Обрести бога в себе

и отойди от борьбы! Да будет мир в человецех, все остальное приложится.

Когда нам приходится вести борьбу за каждого человека, за каждый десяток людей, важно как они определяются: один приходит в лагерь фашизма мирового, другие в лагерь меньшевизма. Это все прямые враги. Третьи идут в наш лагерь. Но есть такие, которые не идут ни направо, ни налево, ни теплые, ни холодные, ни черные, ни красные, остающиеся бесполезными в этой жизни, ищущие неисторического пути, не тянущие назад, не влекущие вперед, ушедшие в сторону, в пустоту. Их нам, во-первых, жаль, жаль персонально, потому что в их мнимом самоудовлетворении мы видим самоудовлетворение обмана, иллюзии; во-вторых, жаль, как потерянных для социального строительства сил, в-третьих, наша обязанность вербовать как можно большее количество сторонников, поэтому мы должны стараться сорвать пелену с их глаз, раскрыть их очи на то, чего требует настоящая действительность.

Это, пожалуй, легко — быть толстовцем. Я присматривался ко многим из них и я не заметил особенного подвижничества. Правда, в тех случаях, когда приходится отказываться от воинской повинности, бывают тяжелые конфликты, никогда, однако, они не достигали такого массового проявления, чтобы серьезно потрясти живоглотный строй. Обычно от прямого конфликта устраняются: «я

толстовец», говорится очень много хороших фраз, а в конце концов в идеале устроения жизни — глубокое мещанство.

Это в конце концов легко. А вот вторгнуться, ввергнуться в самую бездну борьбы социальной, истерзаться ее противоречиями, побуждаясь постоянно медным голосом истории, что теперь зовет на подвиг и жертву, это вещь, которая по моральной высоте бесконечно выше всей этой жвачной материи.

Кончая очерк противоречий двух миросозерцаний, я расскажу одну христианскую, очень острую по-своему легенду. Она рассказывает о том, как господь бог ходил с Николаем Мирликийским и со св. Касьяном по земле. Они встретили увязший в каком-то болоте крестьянский воз. Господь бог сказал, что надо мужику помочь, но Касьян, одетый в свои сияющие райские ризы, заявил: «не полезу я, господи, в болото, что же я буду пачкать мои ризы». А Николай полез, побарахтался в болоте, уцепился в колесо и выволок воз. Вышел он весь перепачканный, но грязь эта обратилась в сияющий свет, какой-то несказанной яркости, бриллианты украшали его одежду. И сказал бог Николаю: «раз ты не побоялся пойти в грязь, чтобы помочь ближнему, будешь праздноваться два раза в год, а Касьян раз в четыре года».

Вот так и толстовец слишком хочет соблюсти свою чистоту, и поэтому настоящего дела любви

делать не может, оно остается у него почти словесным; порою, прислушиваясь к такому громовому времени, как наше, он отбалтывается, отбрехивается от громадных требований, которые ставит жизнь, смиренномудрыми речами.

И нам хочется, чтобы эта сейчас еще сильная позиция, которая имеет свои моральные аргументы, свой художественный авторитет в великом Толстом, перестала смущать интеллигенцию по пути ее к соединению с пролетариатом, которому она нужна, которому она на первых порах нужна будет настолько, что без нее он просто не может приступить к строительству нового коммунистического строя.

Заинтересованные этим, мы впредь, рядом со всеми другими предрассудками, будем вести борьбу и с этим, на вид красивым, подкупающим, на самом деле усыпляющим совесть и энергию, толстовским предрассудком.

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЧЕСТВОВАНИЮ Л. Н. ТОЛСТОГО.

I.

Заграницей злостно распространяются слухи, что мы не только не чтим великих классиков русской литературы, но даже изымаем их из библиотек и запрещаем их читать.

Чему можно удивляться, так это необыкновенной прочности всякой заведомой лжи, распространяемой, прежде всего, в эмигрантской среде, даже при условии, что правда бросается в глаза. На самом деле мы издаем классиков и в полном виде, и в виде специально комментируемых, снабженных соответственными разъясняющими предисловиями, отдельных книг. Мы так много говорим нашей молодежи о необходимости их читать, что факт этот не мог бы ускользнуть от внимания любого, даже предубежденного наблюдателя.

Довольно широко распространялось мнение, что если классиков недурно читает взрослое население, которое даже настойчиво требует новых изданий

Пушкина и Тургенева (они сейчас и готовятся), то среди молодежи интерес к классикам пробуждается туго.

Может быть, это утверждение год - полтора тому назад соответствовало в некоторой степени истине, но сейчас данные, поступающие из библиотек, свидетельствуют, что классики занимают почетное, даже доминирующее место среди книг, читаемых молодежью.

По отношению к Толстому, одному из величайших наших классиков, вполне возможно было бы, при той нетерпимой прямолинейности, которую нам приписывают, встать в положение враждебное или, в лучшем случае, нейтральное.

В самом деле, что такое для нас Лев Толстой? Разве его религиозные и философские писания не представляют собой одну из разновидностей религиозного дурмана? Разве то, что дается у него в очищенной и утонченной форме, не ставит его суждения под удар резкой критики Ленина против всяких дистиллированных препаратов бога? Разве Толстой в своих художественных произведениях не описывает далекую нынешнему населению Советского Союза среду — аристократию? Разве изображение им крестьянства не полно, с одной стороны, утопического обсахаривания мужичка, а, с другой стороны, влюбленного изображения его терпения? Возможно даже, что среди коммунистов могли бы найтись люди, настолько отрицательно оценивающие эти стороны толстовского творчества, что

они готовы были бы отрицать и положительное в Толстом. Но, к счастью, в этом отношении мы имеем суждения самого Владимира Ильича, благодаря чему отношение нашей новой общественности и нашего государства к Толстому определилось без ненужных споров с каким-нибудь ультра-левым меньшинством, — и это несмотря на то, что некоторая часть толстовцев заняла явно враждебную позицию по отношению к советской власти и может довольно вредно влиять на такую важную сторону государственной жизни, как военная оборона.

Предстоящий столетний юбилей Толстого, конечно, является огромным литературным праздником. Художественный гений Толстого признан всем человечеством. Толстой без всякого спора поставлен рядом с величайшими звездами мировой литературы— Шекспиром, Гете и им подобными.

Но Толстой справедливо получил от тысячеустной молвы название великого писателя земли Русской. Для русского народа и всех тех народов, которые вместе с ним входят в великий Советский Союз и культура которых поэтому особенно близка именно к русской культуре, — чествование Толстого является, разумеется, делом гораздо более близким, чем для граждан иных стран.

Государство решило принять самое деятельное участие в чествовании Толстого. В общественный комитет, которому поручено общая подготовка этого чествования, вошел целый ряд представителей

советской власти, рядом с родными и друзьями Толстого, представителями науки и т. д. Комитет этот возглавляется Наркомом по просвещению РСФСР.

Каковы же те основы, на которых будет проходить чествование Толстого и участие в нем советского государства?

Они вытекают из той оценки, которую Ленин дал Толстому, и предрешены директивой правительства.

Мы будем чествовать в Толстом одного из величайших художников нашей литературы. Мы будем чествовать в нем человека глубокой совести, сделавшей его голос одним из честнейших голосов когда-либо звучавших на свете. Мы будем чествовать в нем смелого революционера, который мощно потрясал колонны, поддерживающие государственный порядок общества и церкви современных правящих классов. Мы будем широко разъяснять населению эти высоко положительные качества творчества Толстого, памятуя о том, что Ленин выразил горячее желание, чтобы Толстой стал доступен каждому, и предсказал, что благотворное влияние его будет особенно сильно именно в будущем.

Но это не значит, чтобы мы на основе пошловатого положения: «о мертвых только хорошее», или на основе принципа выдержанности юбилейно-торжественного настроения забыли бы сказать народу об отрицательных сторонах Толстого.

Ленин охарактеризовал Толстого не как барина. Эту сторону его характеристики он опустил как

второстепенную. Толстой был для Ленина, прежде всего, типичным крестьянским революционером. Его положительные стороны он выводил из этого факта, так же как и отрицательные.

Но чисто крестьянская революция всегда половинчата. Она заражена религиозными предрассудками и легко скатывается к своеобразной пассивности (непротивление злу насилием) и запутывается во множестве противоречий, она не умеет оценивать всего значения капиталистической культуры и т. д.

Типичное толстовство в Толстом мы будем осуждать и на его юбилее. Мы будем разъяснять все преимущество боевого коммунистического учения и пути над толстовской утопией «непротивленчества». Мы укажем на глубокую ошибочность суждений Толстого о культуре и неумение его выделить среди множества отрицательных черт этой культуры, приобретшей классовый характер, ее могучие, положительные стороны, на которых зиждется все наше строительство. Приветствуя яркую борьбу Толстого с попами, мы в то же время укажем, что маленький кусочек этого попа остался в самом Толстом потому, что из крестьянина-индивидуалиста в высшей степени медленно испаряются остатки религиозных верований.

II.

Среди форм чествования Толстого первое место занимает, конечно, издание его сочинений. Капи-

тальнейшим актом в издательском отношении будет государственное юбилейное издание полного собрания сочинений Толстого в 93-х томах. В него войдут не только все художественные произведения Толстого, в том числе множество неизданных, но также и дневники, записные книжки и письма. Если не ошибаюсь, добрых 15, а может быть, 20 томов этого собрания сочинений будут представлять собою новый, ненапечатанный еще материал. Основным руководителем редакционной работы будет друг Толстого — В. Чертков, который посвятил десятки лет своей жизни тщательному собиранию его рукописей и может дать множество ценнейших указаний. К делу привлечены и другие выдающиеся толстовцы и ряд ученых знатоков эдиционного дела.

Кроме того, государством учреждена особая редакционная комиссия, состоящая из Наркома по просвещению Луначарского, его заместителя М. Н. Покровского и старых коммунистов, знатоков книжного дела В. Д. Бонч-Бруевича и И. И. Скворцова-Степанова. Эта государственная комиссия будет осуществлять общее наблюдение за изданием, отнюдь не для того, чтобы воспретить что-нибудь толстовское, а именно для того, чтобы обеспечить возможную полноту издания, может быть, вопреки воле тех или других заинтересованных близких Толстого; или защитить тот или другой личный оттенок мысли, который, может быть, вольно или невольно, мог бы быть затемненным в угоду установившимся тради-

циям толстовства, как направления. Отнюдь не заподозривая уважаемых членов комиссии по изданию — толстовцев — в таком желании, мы все же твердо стоим на той же точке зрения, что Лев Николаевич, как личность, был гораздо шире своего толстовства и тем более толстовства своих учеников.

Рядом с этим капитальным изданием будет дано и несколько меньших изданий, содержащих избранные сочинения Толстого и т. п., вплоть до мелких брошюр из Толстого и о Толстом, которые должны будут широчайшим образом рассеяться по всей стране, вплоть до глухих деревень.

От постановки какого-нибудь памятника Толстому в форме монументальной статуи мы пока отказываемся. Толстой, между прочим, сам очень неодобрительно относился к памятникам. Из этого, однако, не следует, что когда-нибудь памятник не будет ему воздвигнут. Мало того, Комитет находит вполне желательным, чтобы наружность Толстого, так счастливо дополняющая его произведения, была широко популяризована. Весьма возможно, что удастся поставить один или два его бюста в широко посещаемых культурных учреждениях, — например, во вновь строящейся библиотеке им. Ленина в Москве, — в достаточно импозантной форме где-нибудь на лестнице или главных залах. Равным образом, Комитет находит желательным воспроизвести какой-нибудь из удачнейших бюстов Толстого во многих копиях, чтобы поклонники Толстого,

а также библиотеки и школы могли за низкую цену могли иметь у себя изображение этого гениального и благородного человека.

Но подлинным памятником Толстому должны быть, прежде всего, те учреждения, которые носят его имя и близки его идеям. Нам уже удалось, между прочим, благодаря неутомимой деятельности Александры Львовны Толстой, превратить Ясную Поляну в довольно изрядную станцию культурного воздействия на население. Там строится большая школа, развертывается школа-мастерская, имеется Народный Дом, ведется всесторонняя работа с населением и учителями, съезжающимися со всех сторон. Этот культурный центр в связи с юбилеем Толстого должен быть усилен. Комитет предполагает обратиться к правительству с просьбой о специальных ассигнованиях на укрепление и расширение этой своеобразной культурной станции. К участию в этом деле в особенности привлечены члены Комитета, представляющие Тульский исполком и Ясно-Полянский сельсовет.

Предполагается также значительно усилить, а если удастся, то и расширить путем перевода в новое здание, Толстовский музей, ремонтировать дом Толстого в Хамовниках (в Москве) и т. д.

Чествование будет иметь место не только в Москве и в Ленинграде, но и в других городах РСФСР и за пределами нашей федерации в союзных республиках.

Предполагается перевести некоторые сочинения Толстого на украинский, белорусский языки, на языки Закавказья и тюркские языки. Кое-что в этом отношении, как известно, уже сделано. Комитет разработает вместе с Главполитпросветом программу толстовских вечеров, которые могут пройти даже по мелким клубам, в деревнях и т. д. Центральное же чествование будет сопровождаться торжественными заседаниями, лекциями, специальными спектаклями в театрах, постановкой специальных фильм в кино, широким использованием радио и т. д.

Нет никакого сомнения, что в эти дни в Москву прихлынет достаточное количество иностранцев. Пусть они, увидев наш импозантный, светлый и в то же время честный, недопускающий никаких недоразумений праздник по поводу столетия со дня рождения великого писателя, пусть они увидят, как умеем мы анализировать культурное наследие и вместе с тем чтить его, пользоваться им, расскажут об этом повсюду, чтобы замолчала ехидная клевета о нашем отрыве от всего прошлого, о нашей сектантской узости, о нашем невнимании к тончайшим проявлениям культуры и о прочих наших мнимых пороках, которые нам нисколько не присущи.

ЛЕНИН О ТОЛСТОМ.

С приближением юбилея Толстого, сильно разрастаются споры о нем.

Это очень хорошо. Лев Толстой представляет собою такую крупную фигуру, что разобраться в нем как можно более подробно, отсеять в нем пшеницу и плевелы, и не просто пустить пшеницу в употребление, а плевелы — на сожжение, а проанализировать и то и другое, какие плюсы и минусы ему присущи, - это будет для нас очень полезно.

Три небольших статьи Ленина, посвященных Толстому, конечно, не могут выполнить эту задачу. Не выполнена она и в бесконечно огромной библиотеке, выпущенной толстовцами и буржуазией, ни теми немногими сочинениями, которые до сих пор написаны были в этом направлении марксистами. Мы надеемся, что как раз юбилей породит новую марксистскую ленинскую литературу о Толстом, которая раз навсегда установит его подлинную оценку и, парализовав его вредные

реакционные влияния, придаст зато тем большую эффектность огромным положительным силам, таящимся в его художественном творчестве. Но если брошюра, составленная из трех статей Ленина, не может считаться исчерпывающей, то она должна всеми нами считаться направляющей, и не только потому, что мы вообще привыкли подчиняться авторитету Ленина, но и потому, что брошюра эта поистине гениальна. Подход Ленина к Толстому изумительно четкий. Ленин мог отметить только самое главное в противоречиях, из которых соткано толстовство, но это главное обрисовано с поразительной меткостью, и этому главному найдена широкая социальная причина. Уже в первой статье Ленина, напечатанной в сентябре 1908 г. и озаглавленной «Лев Толстой, как зеркало русской революции», Ленин неоднократно называет Толстого «великим художником», но отмечает кричащие противоречия «толстовщины». Он перечисляет положительные черты Толстого, и товарищам, которые в последнее время чрезмерно раскричались о вреде толстовства, замалчивая его светлые стороны, следовало бы внимательно перечесть этот перечень. Для Ленина Толстой «гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литерутуры»; для него он «замечательно сильный, непосредственный и искренний протестант против общественной лжи и фальши», для него он

«беспощадный критик капиталистической эксплоатации, разоблачитель правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, человек, вскрывший всю глубину противоречий между ростом богатства, завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс»; для него он «трезвый реалист, срывавший все и всяческие маски». Подумать только, неужели писателя, обладающего такими достоинствами, можно как-то замолчать, скрыть от масс, какими бы отрицательными и ядовитыми примесями эти положительные стороны не сопровождались. И эти отрицательные, ядовитые примеси Ленин видит превосходно. С другой стороны, Толстой для него «помещик, юродствующий во Христе». «Юродивой» считает он проповедь непротивления злу нисилием. Его возмущает у Толстого «проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов на казенной должности — попов по нравственному убеждению, т.-е. культивирование самой утонченной, и потому особенно омерзительной, поповщины», Можно ли отрицать, что многое и положительное и, особенно, отрицательное в Толстом выросло из его барства? Нет, этого отрицать нельзя. При более тщательном и более расширенном анализе, нам придется много на этом останавливаться. Но характерно и превосходно в анализе Ленина то, что он совсем оставляет в стороне

это барство, и о нем упоминает, как о вещи второстепенной. Спрашивая себя, почему Толстой оказался таким великим писателем, он приходит к выводу, что «Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России». Отсюда он делает ряд блестящих выводов, на которых мы останавливаться здесь не будем, ибо каждый грамотный человек должен прочесть самого Ленина.

Во второй статье особенно важно отметить положение Ленина о том, что «эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества». Толстовское художественное творчество провозглашается здесь Лениным шагом вперед в художественном развитии всего человечества. Пусть запомнят это те, кто хочет снизить значение Толстого. Но еще более важно заметить себе, что само величие Толстого является, таким образом, отражением тех, главным образом, крестьянских движений, которые предшествовали Октябрю. И Ленин понимает, что гигантская пролетарская революция должна, когда она найдет соответственного человека, дать сдвиги еще несравненно более монументальные в художественной жизни человечества.

В третьей статье, «Толстой и его эпоха», написанной в такое время, когда Толстого старались использовать, как своеобразную контрреволюционную силу, Ленин особенно резко обрушивается на отрицательные стороны толстовства. Здесь высказывает он те мысли, на которые стараются опереться люди, полагающие необходимым набросить какую-то завесу на Толстого, как на явление вредное действительности. Ленин говорит здесь: «Четверть века тому назад критические элементы учения Толстого могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям населения, вопреки реакционным и утопическим чертам толстовства. В наши дни, после того, как ряд указанных выше событий положили конец «восточной» неподвижности, в наши дни, когда такое громадное распространение получили сознательно реакционные, в узко-классовом, в корыстно-классовом смысле реакционные идеи, идеи «веховцев» среди либеральной буржуазии, когда эти идеи заразили даже часть, почитай что марксистов, создав «ликвидаторское» течение, в наши дни всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его «непротивленства», его апелляции к «Духу», его призывов к «нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «совести», всеобщей «любви», его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п., приносят самый непосредственный и самый глубокий вред».

Разберемся немножко в этом замечательном суждении Ленина. Прежде всего, он подчеркивает особенную вредность толстовства «в наши дни», которые он характеризует, как дни реакции «веховцев» и «ликвидаторства». Заметим себе, прежде всего, это. Но, разумеется, во всякие дни идеализация Толстого, оправдание его отрицательного для нас учения было бы вредно, и всякий, кто попытался бы в настоящее время, именуя себя ленинцем, пойти по этому пути, заслуживал бы осуждения и строгого предупреждения. Но тем не менее наши дни совсем не похожи на дни реакции 1911 г. Если всякая идеализация Толстого и сейчас вредна, то зато совершенно объективный разбор произведений Толстого и распространение его сочинений, комментирование их, с указанием тех блестящих сторон, которые им присущи, более чем возможны в настоящее время. В самом деле, поищем, не написал ли где-нибудь Ленин о том, как надо относиться к Толстому после победы социализма, после рабочего переворота. Да, конечно, написал. Он написал об этом в своей статье, всего за год до вышеприведенной цитаты. Вот что говорит там Ленин: «Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием в с е х, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд

и нищету, нужен социалистический переворот». Поэтому социалистический переворот, нужный для очень и очень многого, можно сказать, для спасения человечества, нужен также был и для того, чтобы сделать произведения Толстого достоянием всех. Это прямо заявляет Ленин, касаясь наших дней. Правда, здесь могут возразить, что достоянием всех Ленин хотел сделать художественные произведения Толстого, как бесконечно более ценную часть его творчества. Но мы и не претендуем отнюдь на то, чтобы распространять философские и публицистические произведения Толстого в массах. Мы полагаем только, вместе с правительством и ЦК партии, что к столетнему юбилею Толстого должно быть осуществлено и академическое издание, включающее в себя всю совокупность произведений Толстого, а также его дневники и письма, как замечательный социальный документ и как необходимое условие полного понимания и комментирования художественных произведений Толстого.

Как видит читатель, исходя из маленькой брошюры Ленина, мы можем совершенно точно наметить путь, которым мы должны итти. Отнюдь не нужно бояться широких толков вокруг юбилея Толстого, широкого общественного внимания к нему, не нужно стараться сузить его размах. Нужно другое, нужно, чтобы люди Октябрьской революции вооружились как следует, дабы опровергнуть всякие попытки толстовцев преувеличить значение

как раз того Толстого, учителя и пророка аскетической морали, бессмертия духа и т. д., попытки, которые казались Ленину попросту смешными. При всем уважении к Толстому, мы будем беспощадны в критике этих отрицательных сторон. На примере произведений Толстого, и художественных и философских, которые представляют собою, можно сказать, целый мир всякого рода мыслей и чувств, мы сможем укрепить наши позиции, поставить на должное расстояние, на должное место все отдельные элементы толстовских произведений, а равно и все толстовство, по отношению к нашему миросозерцанию и делу революции.

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

I.

Толстой представляет собою явление поистине огромное, всколыхнувшее не только нашу страну, но весь мир, приковавшее к себе внимание широчайших читательских масс и нашедшее большое количество последователей во всех странах мира.

Особенностью Толстого является то, что в нем совмещаются два лица: во-первых, гениального художника, создавшего ряд романов, повестей и театральных пьес, которые оцениваются всеми, почти без всякого исключения, как принадлежащие к числу шедевров мирового порядка; во вторых, проповедника определенной морали, определенного жизненного уклада, резко расходящегося с тем, который ныне существует как в России, так и в других странах.

Будь Толстой только художником, он, несомненно, приобрел бы мировую славу. Но таким почти невозможно себе представить Толстого, так как

художественные произведения Толстого в значительной мере проникнуты теми исканиями, теми вопросами, ответом на которые являлась его моральная проповедь. Будь Толстой только моралистом, нет никакого сомнения, что он обратил бы на себя и тогда внимание многих, но, конечно, не достиг бы такого громового успеха, как при соединении этического учения со славою и возможностями великого художественного дара.

Присматриваясь ближе к учению Толстого, оценивая значение его для развития человечества, мы не можем не заметить в нем сразу огромной двойственности. С одной стороны, Толстой — искатель правды, мужественно идущий до конца: ему хочется установить между людьми подлинно человеческие отношения, основанные на любви и согласии; он обрушивается с негодованием на человеческий эгоизм, на нынешние формы государства, церкви, распределения благ и т. д. С другой стороны, он производит впечатление человека, не умеющего освободиться от каких-то внутренних пут. Протест против современных несправедливых форм жизни не приводит его на революционный путь, Толстой ищет других путей, путей чистой проповеди, отказываясь от всякого применения насилия, т.-е. отказываясь от непосредственных форм борьбы. Толстой не может также освободиться от религиозных идей и, беспощадно разбивая многое в современных положительных религиях, церковном строе и прак-

тике, он в то же время старается больше, чем кто-нибудь, возвеличить какое-то очищенное понятие о боге, и именно отсюда выводит ту человеческую совесть, которая, по его мнению, должна, в конце концов, восторжествовать на земле.

Вся разрушительная работа Толстого в высшей степени полезна. Часто ему удавалось критиковать государство, церковь, в особенности семью, с такой силою, до которой, быть-может, не поднимался ни один законченный революционный критик. Но толстовское непротивленчество, в соединении с уклоном к мистицизму, проникая собой положительную его проповедь, удерживает людей от применения революционных методов и, таким образом, отводит известные круги своих почитателей в сторону от подлинной борьбы, распространяет в массах, особенно в крестьянских массах, которые склонны к такому восприятию жизни, пассивность, часто переходящую в прямую ненависть к настоящим активным революционерам.

Таким образом, Толстой вносит раскол в ряды врагов современного общества. Толстовство оказалось каким-то рукавом или тупиком, в который попадает известная часть угнетенных, ограничиваясь таким толстовским полупониманием, полурешением вопроса, которое на самом деле никаким решением не является и вредно отзывается на общем развитии массы в сторону понимания и защиты своих интересов.

II.

Социальные корни толстовства.

Откуда же взялось толстовство с таким своим двойственным ликом?

Оно появилось в результате колоссального сдвига, который пережила наша страна в прошлом веке и, в особенности, в средних его десятилетиях.

До сих пор Россия была страною, в которой преобладал феодальный характер. Доминировал в ней барин. Другой стороной этого барина являлся эксплоатируемый им мужик.

Нечего и говорить, что и в Московской Руси и в последующий, петербургский период крепкого помещичьего самодержавия общественный строй России, преимущественно деревенский, представлял собою чудовищную тьму деспотизма, унижения, ограбления народных масс. Тем не менее, он отстоялся как известный самодовлеющий порядок. Помещик воспитывался поколениями в идеях незыблемости существующего строя. Он знал, что религия является опорою для него, проповедуя крестьянам подчинение и давая в виде всякого рода милостынь, покаяний, молитв, исход для многогрешной помещичьей души к внутреннему покою. Помещик очень часто умел, на основе крепостного труда, строить свои гармонические поэтические усадьбы, воспринимать лучшие, тончайшие плоды западной культуры, порою сам творить разные эстетические

ценности, предаваться всяким философским исканиям и т. д. Конечно, и в помещичьей среде, испытавшей на себе достаточное давление самодержавия и понимавшей часто, что общий мертвенный строй является препятствием даже к экономическому развитию страны, также были разные новаторские течения, — недаром в истории России имеет место помещичий бунт декабря. Но преобладали помещики реакционные, консервативные или умеренно-либеральные, которые в общем считали нашу страну «богоспасаемой», порядок в ней прочным, которые благодушествовали и закрывали глаза на страшную социальную неправду, служившую опорою всему их существованию.

Но капитализм все большим и большим потоком врывался в русскую жизнь. Он превращал домашнее хозяйство в товарное, он выдвинул новую силу в виде буржуазии, он втянул помещиков в капиталистический оборот, большей частью при этом разоряя их он строил фабрики и заводы, выращивал города. Он больше, чем кто-либо другой, вырвал у царя и помещиков освобождение крестьян от крепостной зависимости, в то же время обездолив крестьян землею и внеся в крестьянскую жизнь небывалую неустойчивость.

Покачнулись барские усадьбы, покачнулось барское самосознание, барская религиозность, барская вера в свою правоту, но зато в барах развернулась страшная ненависть к чумазому, к этому пришельцу

с тугой мошной, к прозаическому и так легко разорявшему их буржую. Ненависть к буржуазии стала двигателем для очень многих талантливых представителей помещичьего класса.

Но что же могли эти талантливейшие представители дворянства противопоставить капитализму, как ценность, которую они готовы защищать?

Нашлись и такие помещики, которые вздумали противопоставлять капитализму и Западу старую Русь. Они очень искренно, но, тем не менее, лживо, идеализировали ее порядки. Таковы были славянофилы. Здесь мы находим разные градации, от звериных бар, для которых славянофильство сводилось к словам: «самодержавие, православие и народность», до идеалистов типа Киреевского и Аксакова.

Но для некоторых помещиков была совершенно ясна вся хрупкость этой позиции. Они были слишком близки к Западной Европе, слишком увлекались ею, из них нельзя было вытравить западничество. Но так как Запад становился все более и более буржуазным, то ненависть к нему не уменьшалась в груди таких помещиков. Они мстительно хотели разрушения западного буржуазного порядка. Они любили противопоставлять ему, в особенности после неудачи революционного движения 48-го года, будущее России, которое-де соединит в себе живую правду, вынесенную русским народом из его страдальческой многовековой истории, с лучшими элементами Запада. Так возникло возвеличение

русской крестьянской общины. Так возникло представление — для России возможно, минуя капитализм, перейти к социализму.

Этот барский социализм, иногда при всем своем блеске, имел какой-то шаткий характер, как, например, у Герцена, о котором до сих пор нельзя с точностью сказать, что же в нем стояло на первом месте: социалистическое ли народничество или довольно умеренный либерализм? Иногда, наоборот, он развивался до высших пределов бунтарства, например, у Бакунина, — но всегда носил черты преувеличенного преклонения перед крестьянами. Пошатнувшийся в своем самосознании барин, если он был энергичен и талантлив, ненавидел буржуазию, не понимал пролетариата, стыдился своего барства и преклонялся перед антиподом своим и единственным оставшимся могучим устоем старой жизни — крестьянином. Крестьянина он идеализировал, от крестьянина ждал водворения правды на земле. В этом же кругу идей вращался и Толстой.

Толстой является только одной из оригинальных ветвей этого антибуржуазного барства. Если Владимир Ильич, в своих знаменитых статьях о Толстом, даже не упоминает о влиянии, которое имело на Толстого его помещичье происхождение, и прямо называет Толстого выразителем идей и настроений известной части полусознательного крестьянства, то он глубоко прав, ибо Толстой вел непрерывную борьбу со всеми остатками помещика

в себе, так как в нем его классовый инстинкт преобразовался в горячую ненависть к буржуазии, к капитализму, ко всей культуре, которая несет в себе буржуазия, ненависть, обнимавшую даже буржуазную науку, буржуазное искусство, ненависть, которая оказалась бы совершенно безнадежной, если бы Толстой не мог что-то противопоставить буржуазии. А противопоставить он мог только крестьянство, только идеализированное крестьянство. Вот почему Толстой, очень рано отбросив безнадежное дело стать адвокатом помещиков, оставаясь блестящим прокурором против буржуазии, сделался, в то же время, искреннейшим защитником крестьянства. Крестьянство ненавидит буржуазию, которая его разоряет, ненавидит помещика, который сидит у него на шее, ненавидит царский режим, пригнувший его до земли свистящей над ним розгой. Ненавидит попа с его поборами, с его нелепыми уже для сколько-нибудь развитой крестьянской головы догмами, дорого стоющими требами, характера волшебства и моральным непотребством. Толстой примкнул ко всей этой ненависти крестьянства, он сорганизовал ненависть этого крестьянства, — вернее, он слил свою барскую ненависть с мужицкой ненавистью и вырос в настоящего исполина, который и художественным, и проповедническим словом разил всю отвратительную постройку, воздвигнутую на фундаменте полурабского труда, не щадя даже са-

мых лучших сторон этой постройки, даже тех ее сторон (науки и техники), которые в дальнейшем своем развитии как раз несли освобождение труду.

Но в том-то и беда, что современная культура внутренно противоречива. Она развивается по закону диалектики. Именно капиталистический мир приносит с собою развитие техники и возможность подлинного богатства человечества. Именно капитализм объединяет человеческий труд, выковывает пролетариат, именно он поляризует против себя пролетариат, создает своего антипода — не крестьянина уже, а пролетария, со всеми его великими способностями и возможностями. Спасение человечества лежит не в возвращении назад от капитализма, не в какой-то окольной проселочной дороге, а в том, чтобы пройти сквозь чистилище капитализма. Только дальнейший рост науки и техники, с одной стороны, только дальнейший рост организации революционного пролетариата, с другой, был подлинным выходом на светлую дорогу, достойной человечества жизни.

Но этого народничествующие баре понять не могли. К социализму, как к дитяти капитализма, они относились либо равнодушно, либо старались по-народнически исказить его черты, либо даже проникались к нему ненавистью, как к простому продолжению того же безбожного, увлекающегося внешним богатством, материалистического капитализма.

В этом был основной грех толстовской позиции. Она выражала собою противоречия старой России. Толстой сумел отвергнуть самодержавие и православие, во многом стряхнуть с себя барина, но он оказался в рамках мужиковствующего философа, как гениально отметил Владимир Ильич; он воспринял у крестьянина нерешительность, пассивность его революционных инстиктов, он воспринял ту глубокую религиозность крестьянина, которая вытекает из самой его мелкой собственности, из его зависимости от природы. Он только придал более очищенный характер этой религиозности и благодаря этому снабдил ее новой жизненностью.

Прав Ленин, когда говорит поэтому о Толстом, как о полуреволюционере. Одними сторонами он острейший критик общественной неправды, а рядом с этим—вдруг проповедник самых овечьих инстинктов, распространитель мелких идеек о личной аскетической святости и тому подобных вегетарианских добродетелей. Социальное происхождение Толстого объясняет, таким образом, все его черты и, прежде всего, роковую для него половинчатость.

ТОЛСТОЙ—ХУДОЖНИК.

Писатель создается, с одной стороны, на почве определенных социальных положений. С другой стороны, многое в его произведениях отражает его индивидуальность. Но если мы проанализируем индивидуальность писателя, то мы увидим, что в ней добрые три четверти определяются жизненными впечатлениями, получаемыми им, начиная с детства. Так что и в личности писателя мы имеем вновь влияние социального момента, только в другой форме. К этому, однако, нужно прибавить и наследственные черты. Человеческий организм передает по наследству многие свои особенности, в том числе и особенности характера, при чем наследуются черты матери и отца, бабушки и дедушки в чрезвычайно осложненной форме, в результате чего получается не белая доска, на которой потом попросту общество пишет свои письмена, а доска, так сказать, неровная, пестрые пятна которой вступают с этими письменами в самые оригинальные сочетания.

Черта, которая объясняется социально-наследственным в Толстом, это его гениальность. Гениальность же Толстого заключалась в колоссальной жизненной силе, в невероятно могучем потоке страсти. Толстой любил жизнь, любил природу, был чувственен. Он воспринимал все окружающее во много раз сильнее, чем средний человек. Его внутренняя жизнь была во много раз более кипучей и яркой, чем у среднего человек. Все это искало себе выражение во вне. И если бы дело шло только об этой исключительной даровитости в смысле количества жизненной силы, то и тогда Толстой, несомненно, сделался бы крупным писателем или вообще художником, если бы вдобавок к этой энергии жизни у него оказался тот или другой талант. У Толстого оказался большой словесный талант. Очень характерно при этом, что Толстой никогда не желал быть виртуозом слова. Сплетать разные стилистические узоры, хотя бы и большой красоты, склонны как раз такие писатели, у которых нет столь многоводной подземной жизни чувств. Толстой был настолько переполнен содержанием, что, как писатель, он стремился, прежде всего, излить это свое внутреннее содержание, рассказать о том, что он чувствовал, построить какое-то великолепное зеркало, в котором, в организованном виде, вновь отразились бы его переживания. Отсюда реалистичность Толстого, отсюда же его неподражаемый стиль. В своем сти-

ле Толстой стремится, прежде всего, к величайшей честности. Он хочет сделать язык таким, чтобы он как бы не чувствовался, чтобы вы совсем не останавливались на его формах, чтобы он был прозрачен. И действительно, читая Толстого, кажется, что ты слышишь непосредственно лиц, которые участвуют в диалоге, что ты видишь непосредственно различные сцены или картины природы. Ты не прочитываешь страницы Толстого, ты переживаешь их.

Но не надо думать, что толстовская общественная мораль, о которой мы говорили в предыдущей главе, оторвана от Толстого-писателя. Нет, произведения Толстого не просто излияния чувств, которыми он отвечал на великолепные явления природы и жизни; нет, Толстой, в своих произведениях очень рано уже начинает искать «правды».

Что же это такая за правда, которую ищет Толстой? Прежде всего, натуре с такой огромной страстью, как у Толстого, разумеется, случалась очень много «грешить». Могучий организм, стремящийся к своему счастью, наталкивается на интересы других людей, и если это бессовестный организм, то он спокойно разрушает права других лиц, подчиняет их своим жизненным целям.

Толстому, однако, в величайшей степени претит такой хищнический индивидуализм. Толстой был человеком огромной культуры. Он был поздним отпрыском аристократической фамилии. С детства

его воспитали в христианских идеях. А христианство осуждает страсти, осуждает эгоистическое принесение в жертву чужих личностей своей. Постепенно выросшая толстовская социальная ненависть к буржуазии с ее принципом беспощадной конкуренции сливалась с этим фундаментом христианского альтруизма. Толстой ставил перед собой проблему «правдивой жизни», т.-е. такой, которая не порождала бы вокруг себя страданий и горя. Как моралист, он находил, таким образом, путь к своему иллюзорному представлению о христианском мире, в котором никто никого не обижает, где люди будут жить в добром соседстве. Как художник он тоже старался пробиться к этому представлению о святой жизни. А святая жизнь требует воздержания, требует самоограничения, требует обуздания страстей.

Таким образом, в Толстом кипела огромная борьба между голосом зоологическим, который в нем, крупном даровитом животном, требовал утоления своих похотей, и голосом, предостерегавшим от греха. Все сочинения Толстого, в том или другом виде, проникнуты этой борьбой. Чем сильнее говорили в нем самом его страсти, тем талантливей распинал он их в своих произведениях. Возьмете ли вы его ранние произведения, как «Юность» или «Казаки», или такое зрелое великое произведение, как «Анна Каренина», вы всюду увидите, как аскетические идеи старается он под-

нять над голосом живой страсти. Но именно то обстоятельство, что голос этих страстей был ему в высшей степени понятен, что он, как выразился о нем Чернышевский, «видел все тайны внутренних психологических движений», именно поэтому в нем борьба яростного индивидуального инстинкта и инстинкта социального, хотя и искаженного в виде идеи праведности, приобрели такую значительность, которая приковывала к нему внимание миллионов читателей.

Надо упомянуть еще об одном мотиве, который, пожалуй, был сильнее предыдущего, но с ним сливался. Этот мотив — страх смерти. Яркость, пышность, могучая стремительность жизни гениального Толстого делали для него существование бесконечно милым. Сила его разума, боренне его совести, все это необыкновенное разнообразие внутренних переживаний крепким образом связывали его с личностью, с бытом. Огромное «я» Толстого заставляло, конечно, любить себя, дорожить собою. Толстой беспрестанно возвращается к картинам смерти, с любовью описывает такую смерть, в которой человек без страданий расстается с жизнью, и презрительно отмечает цепляние за жизнь, которое свойственно как раз привилегированным и интеллигентным людям, в отличие от спокойствия перед последним часом, какое сохраняет крестьянин.

Но Толстой не мог так просто обратить себя в крестьянина, равнодушно относящегося к собственной жизни и смерти. Наоборот, сила индивиду-

альности в нем делала ему смерть невообразимо страшной. Отсюда поиски бессмертия. Попросту поверить поповскому Христу Толстой не мог, для этого он был слишком образован и слишком интересовался подлинным разрешением вопроса о бессмертии — честным ответом, а не обманом.

Однако, в конце концов, он все таки удовлетворился обманом. Он постарался остановиться на таком выводе: смертно в человеке все эгоистическое, все, что привязывает его к внешнему, преходящему миру. Так учили, говорит Толстой, великие учителя вроде Будды, Христа и т. д. Наоборот, то что имеется в человеке, за вычетом эгоизма, — его высший разум, его всеобъемлющая любовь — это бессмертно. Вот эту-то сторону, которая является искрой бессмертного божества, нужно развивать, ею нужно жить, в нее нужно уходить.

Эта манера замкнуться в себя, найти в своей личности что-то отрешенное от действительности и провозгласить его бессмертным в высшей степени свойственна азиатским культурам. Мы не можем входить сейчас в рассмотрение причин, почему Азия развернула эти устремленные к покою, так называемые, квиетические учения. Причины, однако, такого выхода из жизни не через борьбу, не через организацию окружающего, а через отступление в мнимые недра собственной души, довольно ясны. И вот Толстой оказался в данном случае пленником азиатской мысли. Чему же удивляться?

Ему казалось, что это спасает какую-то сущность его «я», лучшее в нем, от смерти. Мы знаем, что многие ученые Запада, вроде Пастера или даже Дарвина, ухитрились сохранять кусок азиатской мудрости, странным образом вплавленной в их научное миросозерцание. Причина этому все тот-же индивидуализм современной жизни, делающий своей жертвой в особенности крупные личности. Только став подлинным коллективистом, не искусственного, не мистического, не азиатского порядка, а порядка истинно европейского, научного, пролетарского, только научившись чувствовать себя моментом волны в общем, всемирном историческом диалектическом процессе, можно превратить свою индивидуальную жизнь в вечную, сделав ее разумной точкой гигантского, обнимающего все личности, процесса жизни. Но на такую высоту поднимает своих адептов, своих сочленов только пролетариат. Крестьянство и мещанство, равно как и барство, сделать этого не могут. У них человек-индивидуалист либо остается в ужасе перед смертью, которая все кончает, на которую нет никакого ответа, что погружает в бездонный пессимизм, либо ищет спасения в той или другой мистике.

Если вы подведете итоги всему, что сказано в этой статье, вы увидите, что и социальный мотив, который приковал Толстого к крестьянству, ненависть к буржуазии и его личные моральные искания правды, и его страх смерти, заставлявший

его возвеличить в качестве бессмертных частей личности разум и совесть, — все это сливалось в некоторое цельное единство. Могучая жизненная сила, огромный литературный талант, придали всему этому настоящее величие.

Можно ли при таких условиях проходить мимо Толстого, можно ли отмахиваться от него, можно ли попросту зачислить его в ряды реакционеров? Это значило бы не только отступить от той линии понимания Толстого, которую преподавал нам Ленин, но это значило бы вообще замкнуться в какой-то узкий круг. Это было бы непонимание того, что мы, живой класс, живая партия, обязаны откликнуться нашей оценкой на все крупные явления культуры, получать от них должные уроки.

Но можно ли при этих условиях принять Толстого и толстовство? Можно ли отметить произведения Толстого положительным знаком?

Нет, конечно, ни в каком случае. Враг буржуазии, он является и врагом пролетариата. Он мешает пролетариату в его деле прямой борьбы с буржуазией. В этой прямой борьбе пролетариат нуждается в помощи крестьянской массы и трудовой интеллигенции. А, между тем, Толстой даже из гроба тщится быть вождем крестьянства и трудовой интеллигенции.

Напрасно некоторые товарищи закрывают глаза на то, что Толстой есть идеолог крестьянства и его руководитель. Неверно утверждение, что Толстой выражал идеи крестьянства или известной его части

и только в короткий промежуток времени. Для того, чтобы говорить так, надо закрыть глаза на гигантское развитие сект, в том числе и евангелической секты. В настоящее время надо помнить, что существует очень большой слой крестьянства, который перерос православие, но отнюдь не дорос еще до материализма. Этот слой радуется победе над самодержавием, но мечтает о крепком индивидуальном хозяйстве, и рад благословить его всякой благодатью толстовско-мужицкой морали. Этот слой или прямо и непосредственно исповедует свое обожание к Толстому, или находится на пути к тому, чтобы обрести в Толстом, как это было с духоборами, своего главного учителя. Так же точно относится к толстовству и трудовая интеллигенция. Некоммунистическая ее часть, в очень значительной мере, является либо более или менее толстовствующей, либо, во всяком случае, готова выставить толстовство, как свой щит против коммунизма. Причина этому, конечно, в индивидуализме и мещанско-обывательском пацифизме значительной части этой интеллигенции.

Вот почему надо сказать, что Толстой, являясь великим человеком, великим писателем, великим критиком общественной неправды, помощью которого во всех этих отношениях мы отнюдь не хотим пренебрегать, является, в то же время, нашим соперником, а поэтому и нашим врагом на арене революционной борьбы за социализм.

О ТВОРЧЕСТВЕ ТОЛСТОГО.

I

Нельзя лучше охарактеризовать ту эпоху, в которую выступил Толстой, чем сделал это Ленин. Толстой представляет собою чрезвычайно для русского общества знаменательную фигуру и находится в глубочайшей зависимости от особенностей той эпохи, в которой он появился. Вот что пишет об этом Ленин:

«Л. Толстой начал свою литературную деятельность при существовании крепостного права, но уже в такое время, когда оно явно доживало последние дни. Главная деятельность Толстого падает на тот период русской истории, который лежит между двумя поворотными пунктами ее — между 1861 и 1905 годами. В течение этого периода следы крепостного права, прямые переживания его насквозь проникали собой всю хозяйственную (особенно деревенскую) и всю политическую жизнь страны. И в то же время именно этот период был периодом

усиленного роста капитализма снизу и насаждения его сверху.

В чем сказывались переживания крепостного права? Больше всего и яснее всего в том, что в России, стране по преимуществу земледельческой, земледелие было в это время в руках разрозненных обнищалых крестьян, которые вели устарелое, первобытное хозяйство на старых крепостных наделах, урезанных в пользу помещиков в 1861 году. А, с другой стороны, земледелие было в руках помещиков, которые в Центральной России обрабатывали земли трудом крестьян, крестьянской сохой, крестьянской лошадью за «отрезные земли», за покосы, за водопои и т. д. В сущности, это старая крепостническая система хозяйства. Политический строй России за это время был тоже насквозь пропитан крепостничеством. Это видно и по государственному устройству до первых приступов к изменению его в 1905 году, и по преобладающему влиянию дворян-землевладельцев на государственные дела, и по всевластию чиновников, которые тоже, главным образом — особенно высшие, были из дворян-землевладельцев.

Эта старая патриархальная Россия после 1861 года стала быстро разрушаться под влиянием мирового капитализма. Крестьяне голодали, вымирали, разорялись, как никогда прежде, и бежали в города, забрасывали землю. Усиленно строились железные дороги, фабрики и заводы благодаря «дешевому

труду» разоренных крестьян. В России развивался крупный финансовый капитал, крупная торговля и промышленность.

Вот эта быстрая, тяжелая, острая ломка старых «устоев» старой России и отразилась в произведениях Толстого-художника, в воззрениях Толстого-мыслителя.

Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы. Острая ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила его внимание, углубила интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания».

Итак, согласно Ленину, Толстой является сам представителем старой России—это барин, помещик. Живет он в такую пору, когда эта старая Россия гниет. Она сама по себе гниет, прежде всего, в основе своей, в крепостном праве. Никто мало-мальски порядочный, мало-мальски шевелящий мозгами, мало-мальски честный не мог уже держаться за эти старые устои, а считал их лишь остатком проклятого прошлого. А что же расшатывало эти старые устои извне? Что шло им на смену?—Капитализм, но капитализм в форме первоначального накопления, капитализм, разоряющий крестьянина и барина, молодой, особенно хищный капитализм, вообще больше приносящий зла, чем пользы.

Как барин, Толстой положительных сторон капитализма почти совсем не замечает, отрицательные же стороны видит остро. Ненависть к капиталистическому миру, ненависть к побеждающей помещика буржуазии есть основное социальное чувство Толстого. Но в протесте этом он не мог опираться на самое барство. Подобные явления имеются в русской литературе. Уже Герцен—барин—протестует против капитализма и апеллирует к мужику. Народники, протестуя против капитализма, апеллируют к мужику. Толстой в этом отношении является особенно типичным. Для того, чтобы чем-нибудь ушибить капитализм, что-то противопоставить капитализму, найти какой-то идеал, какую-то правду, за которую можно было бы уцепиться в борьбе с капитализмом, Толстой должен был отринуть барскую касту старой России, а вместе с тем бюрократию, поповство, и взяться обеими руками за мужицкую правду, и здесь, с точки зрения мужицкой правды, постараться очернить буржуазию. Но, как вы знаете, народники, да и Герцен и Бакунин, были настроены революционно в собственном смысле слова, т.-е. они полагали, что надо опираться на революционные инстинкты крестьянства, что надо поднять это крестьянство, развязать в нем бунтарскую энергию и вызвать крестьянские восстания, по возможности слить их в одно бурное, революционное море против самодержавия. У Толстого, как вы увидите, этой тенденции нет. Он не ве-

рит нисколько ни в какие революции, да и не хочет никаких революций, лучше знает крестьянство того времени, чем современные ему мужиковствующие социалисты-утописты.

В сущности говоря, народники, думая, что крестьянство может быть огромной революционной силой, были в известном смысле правы. При благоприятных условиях, при достаточном количестве бродила, при наличии авангарда, который руководил бы крестьянством, крестьянство может быть революционной силой. Народники тут были более правы, чем Толстой. Но они были правы в том непонятном для них самих смысле, что ежели прибавить к крестьянству еще и русский пролетариат, то тогда получилось бы взрывчатое вещество. Но пролетариата в то время в России почти не было, и мало кто понимал, что необходимо еще, чтобы буржуазия предварительно создала пролетариат. Толстой этого не понимал. Как и народники, Толстой хотел опираться на деревню против города, против помещика, против царя, но так как он видел, что деревня сама по себе нереволюционна, не только видел это, но сам разделял эту пассивность деревенскую, был сам в этом отношении кость от кости деревни как таковой, с ее обломовскими чертами, то он и создал иную идеализацию деревни, чем Златовратский и Успенский, чем Бакунин и Герцен. Он искал иных путей для идеализации деревни.

Толстой рассказывает, что когда он в первый раз прочел произведения Руссо, он прямо дрожал от умиления и от восторга и после этого некоторое время вместо креста носил маленький портрет Руссо. Это чрезвычайно характерно. К чему сводилась, главным образом, своеобразная революционная идея Руссо? Она сводилась к тому, что цивилизация, наука, искусство, техника, развитие государственных форм и т. д. не только не прогресс на самом деле, а, наоборот, порча нравов, что человеческое счастье, подлинный, настоящий праведный строй жизни лежит сзади, и поэтому к нему ближе всего отсталые части общества, например, крестьянство. Еще в крестьянстве, говорил Руссо, можно найти кое-что от добрых старых нравов, а город совершенно сгнил и никуда не годится. Руссо, конечно, не был барином, но Руссо был типичный мещанин: сын мелкого часового мастера из мещанского города Женевы, из типичной мещанской страны — Швейцарии, в то время чрезвычайно отсталой в отношении промышленности. Таким образом, это была идеализация мелкобуржуазного «справедливого строя жизни».

Руссо был последователен в своих идеях и уже захвачен революционным движением умов, которое началось в его время и разразилось в годы революции. Уже произошли социальные сдвиги, капитализм разрыхлил почву старой Европы. Поэтому Руссо доходил до революционных мыслей. Он говорил, что частная собственность есть основной грех

нашего общества, и в этом смысле он как будто бы явился предтечей грядущего социализма. Но вместе с тем это нисколько не мешало ему быть величайшим реакционером, ибо науку и технику, т.-е. то, что должно было привести к капитализму, а через капитализм создать об'ективные условия настоящего, т.-е. социалистического, хорошо организованного и богатого человеческого общества и вместе с тем создать могильщика этого капитализма и подлинного завершителя общественного развития -пролетариат, эти силы экономического прогресса Руссо отрицал. Если бы история пошла такими путями, которые он указывал, то приостановился бы всякий прогресс, мы должны были бы вернуться далеко назад, к дикарскому существованию, и там, в этом полудикарском существовании, Руссо старался бы осуществить какие-то идеалы справедливости.

Вольтер, который тоже был революционер, но который был буржуазный революционер и полностью признавал прогресс и развитие цивилизации за благо, острил над Руссо, что добродетель вещь хорошая, но неужели нам нужно ходить на четвереньках?

Толстой еще молодым человеком обливает слезами страницы сочинений Руссо и носит его портрет, как медальон, на шее. До такой степени омерзение и тошноту вызывает в нем новый буржуазный мир, как в чутком барине, обладателе острого ума и горячего сердца.

Было время, когда он, приехав в Петербург, в студенческие годы, убедился было, что прогресс—известное продвижение к просвещению, к усложнению и усовершенствованию жизни,— есть как бы закон природы, и что это—утешительное явление, разрешающее больные вопросы относительно общества и его судеб. Но очень скоро Толстой замечает, что «прогресс» никак не может удовлетворить его. Он пишет на исходе этого короткого периода, продолжавшегося всего 4—5 лет, так:

«Есть два понятия прогресса, которые вовсе не совпадают друг с другом. Для большинства образованного общества («образованного» он подчеркивает) весь интерес истории заключается в прогрессе цивилизации. Для нас же интерес этот заключается в прогрессе общего благосостояния. Прогрес же общего благосостояния не только не вытекает из прогресса цивилизации, но большею частью противоположен ей. А если так, то оправдывать что бы то ни было «прогрессом» нельзя, ибо оправдывать можно только «благом», а не движением вперед».

Как видите, мысли наивные, но если принять во внимание, что марксизмом еще не пахло тогда для огромного большинства интеллигенции, если принять во внимание, что люди еще не понимают роли капитализма, то за эти мысли нельзя упрекнуть Толстого. Ах! Вы говорите — прогресс, наука, техника, парламенты, всевозможные суды присяжных и т. п. А я что вижу? От этого вашего прогресса

бедный человек не богатеет, а еще больше беднеет, с него дерут три шкуры, его попирают ногами.

Это то же самое, что говорил Герцен. Толстой вошел в ту же полосу антибуржуазной революционности. Он не мог, конечно, противопоставлять капитализму и его прогрессу старого барства пока еще лишь неопределенный идеал, который лежит, однако, в стороне от дороги буржуазного прогресса. Отзвуки Руссо здесь совершенно очевидны и ясны. Не может быть речи даже в самые скудные и серые периоды развития Толстого, чтобы он самое барство, как таковое, принимал за идеал. Я приведу только одну цитату из его частного письма к тетке, написанного в то время, когда он отрясает от ног своих прах этой теории и либерализма.

«В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши все то же происходит — патриархальное варварство, варварство и беззаконие. Поверите ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине и теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни...» Он видел, например, как барыня на улице била свою девку. «А мой бурмистр, — пишет он своей тетке, желая услужить мне, наказал загулявшего садовника тем, что, кроме побоев, послал его босого по жнивью стеречь стадо, и радовался, что у садовника все ноги были в ранах...»

Вот маленькие картинки, которые Толстой встречал и которые заставляли его содрогаться от ужаса. То, что он, таким образом, содрогается от ужаса, выкидывает его за пределы помещичьего класса. Конечно, в нем могли остаться разные помещичьи черты, но назвать такого человека выразителем интересов помещичьего класса никак нельзя. Он определенно говорит: гнусно, скверно, нужно как-нибудь от этого уйти, разрушить это, этого нельзя больше терпеть. А так как он капитализм считает еще большим вредом, либеральный прогресс отрицает, то куда же ему было уйти? Бакунин пошел в анархию, Герцен — в революционное народничество. Казалось бы, и Толстой должен был искать подобного исхода. Ведь Толстой, в сущности, выступает с главными своими сочинениями в то время, когда подъем народничества уже проходил. Основной центр тяжести его сочинений выпадает уже на то время, когда уже общество в своих лучших частях изверилось в те формы борьбы, которые народниками рекомендовались. Поэтому, если бы барская натура Толстого, внутренне барская, и некоторые особенности его, тоже социальные, а не только индивидуальные, если бы они и не толкали его прочь от революции, он и в этом случае должен был бы быть революционером без революции уже потому, что карты-то революции к тому времени все были крыты. Мы увидим дальше, что это социально объясняется более глубоко.

II

Ленин великолепно понимал своеобразную замечательную двойственность Толстого. В своей статье «Л. Толстой как зеркало русской революции» он пишет:

«Противоречия в произведениях, взглядах, учениях в школе Толстого — действительно кричащие. С одной стороны — гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы; с другой стороны — помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны — замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши; с другой стороны — «толстовец», т.-е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «Я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием, я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны — беспощадная критика капиталистической эксплоатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны — юродивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной стороны — самый трезвый

реализм, срывание всех и всяческих масок; с другой стороны — проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии — стремление поставить на место попов на казенной должности попов по нравственному убеждению, т.-е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины. Поистине:

Ты и убогая, ты и обильная
Ты и могучая, ты и бессильная,
Матушка Русь»

Дальше говорится:

«Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой. И противоречия во взглядах Толстого надо оценивать не с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма (такая оценка, разумеется, необходима, но она недостаточна), а с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней».

Весь этот острый процесс разложения и объяснчет, почему он — барин — стал жить революцией. Все разложилось кругом.

«Толстой велик, — пишет В. И. Ленин, — как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионного русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России».

Значит, именно потому, что Толстой примкнул к крестьянству в своей борьбе с буржуазией, он наполнялся революционным содержанием крестьянства, он стал на точку зрения страданий крестьянского народа, он стал расшибать в пух и прах в теоретической своей пропаганде, как художник и как публицист, все то, что изнуряло, что мучило, что разоряло крестьянство.

«Толстой оригинален, — пишет Ленин — либо совокупность его взглядов, вредных как целое, выражает как раз особенности нашей революции как крестьянской буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, действительно, — зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции. С одной стороны, века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости. Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать наместо полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян — это

стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному «христианскому анархизму», как оценивают иногда «систему» его взглядов».

Т.-е. Ленин говорит: вы не думайте, что этот барин просто выдумал себе крестьянский социализм. Нет, его революционность не идет отдельно от революционности крестьян. Когда крестьяне дошли до идеи протеста, когда вообще крестьянская мысль, возбужденная, начинает раздумывать над своей судьбой, она охотно берется за толстовство. Разве мы этого не знаем? Разве мы не знаем, например, что духоборы другими путями, чем Толстой, пришли абсолютно к тому же учению. Духоборы — это революционная крестьянская аристократия. В то же время «революция без революции», моральная только революция, революция без насилия и т. д.— она представляет собою подлинное тождество с учением Толстого. Это лучшее доказательство того, что Толстой действительно был идеологом этой части крестьянства. Но я уже отмечал, какой части революционного крестьянства: той, которая на последовательную революцию путем противопоставления силы силе неспособна. И Ленин это отмечает:

«С другой стороны, крестьянство, стремясь к новым формам общежития, относилось очень бессо-

знательно, патриархально, по-юродивому, к тому каково должно быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе свободу, какие руководители могут быть у него в этой борьбе, как относятся к интересам крестьянской революции буржуазия и буржуазная интеллигенция, почему необходимо насильственное свержение царской власти для уничтожения помещичьего землевладения. В нашей революции меньшая часть крестьянства действительно боролась, хоть сколько-нибудь организуясь для этой цели, и совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов, на уничтожение царских слуг и помещичьих защитников. Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «ходателей» — совсем в духе Льва Николаевича Толстого».

Вот эта пассивность крестьянская, неумение сорганизоваться, неумение действительно, на деле, поправить свое положение, это стремление в словах, в жалобах, надеждах, молитвах и т. д. расточаться, эта своеобразная мужицкая обломовщина, неподвижность нерешительность, запуганность, — она сказалась и в величайшем идеологе крестьян — Толстом, хотя он и был выходцем из барства; она сказалась в том, что у него сочетались эти страстные протесты и бессилие перевести их на живой язык борьбы.

В другой своей статье, которая называется «Л. Н. Толстой», Ленин дает общую оценку Толстому, и это для нас чрезвычайно ценно. Он говорит так:

«Эпоха подготовки революции в одной из стран, значит, 70-е, в особенности 80-е и 90-е годы, придавленной крепостниками, выступила благодаря гениальному освещению Толстого как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».

Это замечательно сказано и свидетельствует об огромном проникновении в сущность подлинной истории культуры у Владимира Ильича. Смотрите, что он говорит. Толстой был настоящим художником, впереди, в этом отношении, художественного развития всего человечества. А что, какая сила в нем преломлялась? Перелилась в эти ценности, которые отчасти повели все человечество вперед? Это была подготовка гигантской нашей революции. Наша революция ощупывала, стараясь найти выход для гигантского крестьянства, натыкалась сослепу на те и другие препятствия, ушибалась, находила ложные пути, страдала, металась, протестовала и разочаровывалась, и вот этот протест, поскольку он отражался в гениальном представителе, представителе, столь же гениальном, как наш Владимир Ильич, только с другой — художественной, а не активной окраской,—она в нем создала необычайно сконцентрированное, яркое выражение всех этих исканий. До такой степени вопросы, поднятые при

этом, оказались важными и с такой силою они были выражены, что их художественное отражение опередило и гораздо более передовые страны.

Маркс учил: высота развития искусства может совершенно не соответствовать высоте развития экономики. Т.-е. не так идет дело, что в экономически мощной стране и искусство мощное. Может быть совершенное несоответствие между тем и другим. И Маркс приводит пример: редко, а может быть, никогда, искусство не стояло так высоко, как в античной Греции, но в отношении экономическом мы, конечно, во многом превзошли греков.

И Ленин тоже думал так. Отсталая страна, замученная крепостниками, слепая, неграмотная, нашла своего идеолога крестьянства, своего выразителя, перебежчика из другого класса, чудаковатого барина,— и в результате искусство мира поднимается на такую высоту, на которую в более прогрессивных странах, просвещенных и нормальных странах, оно подняться не могло.

Дальше Ленин говорит:

«Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, — нужен социалистический переворот. И Толстой не только дал художественные произ-

ведения, которые всегда будут ценимы и читаемы массами, когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капиталистов, — он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования».

Вот как смотрит на Толстого Ленин. Он считает, что его произведения будут всегда ценимы и читаемы массами, что они особенно будут дороги массам, когда массы создадут себе человеческие условия, что социализм сделается предпосылкой того, чтобы Толстой был доступен всем.

Вы можете, как Денике, спорить с Марксом, спорить с Лениным, но он сказал именно так.

III.

Значение Толстого чрезвычайно велико, прежде всего, потому, что это человек необъятной жизненной силы.

Когда вы читаете разных толстовцев, изображающих Толстого, вы замечаете, что они изображают его угодником, праведником, который, правда, иногда сердится, но в общем совсем елейный старец. Это ложь. Толстой был сладострастник, ругатель, человек слепых приступов гнева и в то же время человек, до такой степени быстро трогавшийся, что сам о себе говорил: «Слезлив я до неприличия; меня,

еще когда я был юношей, называли — Лева-рева». Когда Горький, самый настоящий художник, подошел к Толстому, то в своей знаменитой брошюре он изображает Толстого так, что от образа елейного человека, каким пытаются изобразить его толстовцы, ничего не остается; когда он хочет найти наиболее хорошее слово для Толстого, он говорит: жуткий колдун. Один раз утром он видел, как Толстой стоял на берегу моря и что-то думал, и ему показалось, что он колдует и что вся природа ему подчиняется. Такое впечатление у него выросло от Толстого, и это гораздо ближе к истине, чем слова о святости. Толстой, правда, хотел подделаться под святость, но мы видим, что сам-то он был прямая противоположность святости. Он был человек необычайно влюбленный в жизнь.

У Толстого была гениальная черта — необычайной, изумительно широкой жизненности, связанной с общественными чувствованиями, страстями. Кроме того, он происходил из такого класса, он был в таком материальном положении, что у него была полная возможность обработать этот огромный поток своих жизненных впечатлений эстетически совершенно. Он это сделал с таким мастерством, с каким не сумел сделать ни один из его предшественников, вышедших из того же класса. Но, кроме того, он еще изменил цель своего творчества и поэтому изменил и форму своей работы. Толстой впервые-

и во-первых — стремился к простоте. И он достиг этой классической, «толстовской» простоты. Почему Толстой устремился к крайней простоте? Он к ней устремился потому, что не хотел писать для бар. Он поставил такую цель: нужно быть страшно серьезным и честным в искусстве. Он поставил эту цель потому, что, во-первых, по его мнению, искусство было выражением той остроты страданий вследствие ломки старого быта, о которой говорил Ленин, и, во-вторых, потому, что это приближало его к мужицкой правде. Он очень зло трунит и описывает с одинаковой ненавистью как попа, который служит литургию, так и оперу в Большом театре, потому что и то и другое ему кажется фальшью. Он стремится создать такое искусство, которое было бы правдиво и серьезно, в котором не было бы никаких прикрас. Когда он спрашивает: что такое искусство,—он дает гениальный и глубокий ответ, в своей основной части признаваемый нами: «Искусство есть способ заражения широкой публики переживаниями художника». Так вот, как он считает, что самое важное — это его переживание и, конечно, очень серьезное, потому что иначе что же им заражать,—серьезное, являющееся общественным благом, и что все приемы искусства должны быть именно средством для того, чтобы это заражение как можно сильнее действовало. Конечно, он должен был выработать новую эстетику. Изящность форм здесь отступает на

второй план. Он шлифует все свои произведения, но не для изящества. Для чего же? — Для этого обаяния простоты, которая является, по его мнению, самым высшим перлом искусства. Толстой потому поднялся над всеми писателями, что ни один писатель не писал так просто. Иногда кажется, что Толстой коряво пишет: он поставит штуки четыре «что» в одной и той же фразе. Но он делает это нарочно, чтобы произвести сразу впечатление глубокой мысли, которая не заботится о своей наружности. Зато вся фраза будет повернута так, чтобы произвести возможное впечатление самой правды, чтобы все было так просто и убедительно, как то, что мы видим вокруг себя в природе. Вот эта особенность Толстого, эта громадная художественная правдивость довершает перед нами облик Толстого как социального художника, как мастера выражения наших общих переживаний, потому что при выявлении с в о и х переживаний, стараясь ими заражать, он, конечно, должен был выбирать такие, которые более или менее общечеловечны, даже не те, которые являлись классовыми, потому что от своего класса он ушел и свой класс ненавидел.

Таким образом, если Толстой обладал морально богатырской жизненностью, то для выражения этой жизненности он имел невероятное богатство палитры, сделанной еще его предшественниками, и всю возможность отдаться целиком этому делу, не заботясь о материальных благах. И если прибавить

к этому, что он стоял на переломе и пришел к такой правде и простоте, какой даже и не предполагал ни один из художников, бывших до него, вы поймете, что такое Толстой и что такое толстовская художественная школа. Вы поймете, что художественная толстовская школа есть обязательная школа для каждого нашего пролетарского писателя, ибо какой же он пролетарский писатель, если у него нет мощных переживаний, — тогда не стоит ему и писать: чем же он будет заражать? Это должна быть могучая натура. Он должен быть настоящим художником, должен знать свое ремесло, отдаться этому делу со всей любовью, и он должен быть максимально прост. Но это должна быть не та простота, которая хуже воровства, которая заключается в безграмотности, в заикании, в неумении владеть речью.

Возвращаюсь к Толстому, как к философу.

Моралист в Толстом постоянно отравляет счастливое языческое настроение.

И здесь на смену радостного язычества идет нечто другое, более тяжелое.

Кроме часто возвращающегося страха греха, у Толстого был еще другой страх. Может быть, со страхом греха он скорее справился бы, чем со страхом смерти. Когда Толстой написал «Воскресение», Чехов написал Горькому письмо, где говорит:

«Прочел и остолбенел. Вся книга написана человеком, который до ужаса боится смерти и обма-

нывает себя и других и цепляется за цитаты из священного писания».

Это — характеристика доброй половины всей толстовщины. Толстой при всей своей страстно могучей жизненности и именно потому, что жизненность его была так могуча, не мог не ценить свою личность, которая давала столько переживаний, и в ужасе думал о смерти. Ерошка, герой его рассказа «Казаки», очень просто говорит: «Трава вырастет, поэтому нужно пользоваться сейчас». И Толстой изображает сочувственно, как спокойно умирает крестьянин, как еще спокойнее и прекраснее умирает срубленное дерево и как безобразно умирает интеллигентная какая-то барынька, которая хватается за остатки жизни, от нее уходящей. Он считает, что надо было бы встретить смерть очень храбро. Он написал вещь, которая целиком посвящена смерти. Это «Смерть Ивана Ильича». Умирание описано с беспощадной правдивостью. Когда Толстой вплотную подошел к самому факту смерти, ему нужно было как бы помириться с нею, и он говорит, что Иван Ильич при приближении последнего, смертного часа наконец, понял, что вот уже нет смерти, а есть свет. Но это, конечно, одни слова, которые никого не могут убедить ни в малейшей степени. Не так люди умирают, — света не ощущают, а до конца чувствуют упадок сил, затемнение памяти, иногда сильную боль. Толстой это великолепно знал, и здесь он сдабривал смерть

каким-то сахаром, чтобы не так было страшно. Страх смерти тем более силен в нем и постоянно его одолевает, что смешивается у него со страхом греха. Жизнь постоянно толкает его на грех и сладка этим сладким грехом, а кончается смертью. Между этими двумя кошмарами невозможно быть спокойным. Всю жизнь Толстой мучился этими проблемами. Сознание греха в индивидуалистическом обществе, где счастье каждого покупается несчастьем других, грех постоянно висит над каждым человеком. В такую эпоху, где все толкали друг друга и рвали друг у друга это «счастье», было особенно страшно это констатировать, и поэтому хотелось найти какой-то исход, найти безгрешную жизнь. Безгрешную жизнь мы знаем только в социализме, где усилия каждого и счастье каждого соединяются с усилиями и счастьем других. Но Толстой не мог этого видеть. Ему нужно было искать другого. Также и страх смерти у Толстого только потому поднимался до таких судорог, он потому так метался, потому построил такие здания мыслей и образов, чтобы заслонить перед собой смерть, потому что был страшно жизненен.

Однако, нельзя себе представлять дело так, что Толстой, исходя из какой-то пустоты или какого-то сознательного философского атеизма, под влиянием страха смерти и греха выдумал бога. Нет, он с детства верил в него. Наоборот, большое развитие привело его к тому, что он усомнился было

в боге. В его эпоху почти невозможно было выйти из рамок мучивших его противоречий. Они толкали его вновь к признанию бога. А в бога он с ранних лет очень верил. Еще молодым он пишет в дневнике: «Молился богу, чтобы выиграть в карты — и выиграл. Это сильно утвердило мою веру». Он это пишет юношей 18 лет, и нечто подобное проходит до конца жизни. Я читал его дневники, которые не изданы, относящиеся к тому времени, когда ему было более 70 лет, и там имеются такие фразы: «Встал, — не могу спать. Господи, господи, помоги мне. Сомневаюсь, колеблюсь... Что мне делать? Без тебя я не могу жить». Я приблизительно цитирую. Потом прибавка: «Встал рано утром, спокоен, — вера окрепла».

Вот среди таких колебаний этот человек постоянно живет, потому что внутреннее чувство веры усиливается у него, может быть, в результате самых небольших жизненных событий, состояния здоровья и т. д. А аргументы, сколько их он себе и другим ни приводил, аргументы эти неубедительны. Но, тем не менее, он вновь и вновь приводит новые и новые аргументы, потому что бог ему нужен. Откуда он этого бога возьмет? Возьмет он этого бога в церкви?—Ни в коем случае. Церковь, поп — это приводит его в ужас. Он говорит: «Я скорее отдам своего ребенка на растерзание собакам, чем позову священника, чтобы он делал над ним колдовскую церемонию». До какой ненависти доходит к церкви!

И вот он начал разрабатывать перевод Евангелия и свои богословские труды, в которых он старался сделать христианство религией без мистицизма, без ритуалов и т. д. Однако, в этом очищенном христианстве мистицизма на деле оставалось очень много. Чем оправдывалось у Толстого его новое божество? — Именно, потребностью впитать в себя мистически наличие бога. «Смерть для меня не страшна, потому что я — в боге. Постольку, поскольку я в боге, постольку я не умру. Но не всякий человек в боге. Человек, живущий своим телом, отпал от бога. Надо верить в бога. Что значит жить в боге? — Значит жить по правде. Жить в любви. Тот, кто живет по правде, тот, кто живет в любви, — чувствует в себе бога, он бессмертен, он не боится смерти».

У кого же этого бога позаимствовал Толстой? В значительной степени у мужика. Правда, мужик сам большей частью живет поповской верой, но Толстой с необыкновенной чуткостью понимает, что поповская вера мужику в его дальнейшем развитии будет ненужна, что мужику поповская вера, когда он пройдет хорошую школу, когда он сделается поумнее, сделается смешной. Но это не значит, что ему никакой веры не будет нужно. Он гениально прозревает то, что мы сейчас видим, — это колоссальное распространение евангелизма, баптизма среди передового крестьянства. И он мог видеть к концу своей жизни распространившихся

духоборов, несмотря на страшное гонение со стороны правительства. Это была настоящая мужицкая религия без попа. Это были попытки крестьянства создать свою социальную правду, свое добрососедское житье. В этом выражалось идеализированное представление о добрососедской жизни мелких собственников; это были попытки выразить свой идеал в религиозной форме, подчинить индивидуалистические стремления общему закону, назвав его богом и правдой. Эти крестьянские секты являлись той же очищенной религией, той же реформацией, за которую взялся и Толстой. У нас произошла теперь не реформация, а революция. Но мы можем сказать прямо, чем был Толстой. Толстой был реформатором, Толстой был нашим Цвингли, нашим Гусом. Он свою деятельность направлял так, чтобы вместо революции в качестве ответа на все громадное неустройство жизни сказать: «Очистим представление о боге, создадим новую религию, религию братства, любви, святости, правды и т. д., и все этим разрешится, потому что если мы будем жить соответственно этой религии, никаких социальных реформ нам не нужно». В этом конечно, колоссальная вредность учения Толстого.

Я не ставлю себе целью разбор хотя бы большинства крупных произведений Толстого. Я могу попытаться только наметить общие абрисы разбора тех его произведений, которые в особенности снискали ему славу среди мировых писателей, т.-е. два

огромных романа, написанные в расцвете его сил. Это — «Война и мир» и «Анна Каренина».

Начнем с романа «Война и мир».

В чем заключается центральная мысль романа, которая проходит от его начала до его конца? В одном месте это вскрывается в простой фразе. Толстой говорит: «Чем больше личность отказывается от своих индивидуальных действий, а входит в совокупное действо, тем больше она оказывается на своем месте и большего достигает». «Война и мир» есть изображение совокупных действий. Но Толстой такой совокупностью действий считает не только то, что определяет историю, не только исторические события, рисующиеся ему как колоссальный процесс, который, в сущности, движется помимо воли отдельных людей. Для него весь мир, вся солнечная система, вся природа, которая нас окружает, все течение явлений есть громадное «все», которое имеет свои законы, необыкновенно прекрасные и величественные, поэтому подлежащие принятию, требующие подчинения себе определенных сил.

Как только вместо мысли общенародной, вместо мысли, логически вытекающей из всего бытия, вы обособляетесь, вы, таким образом, уже отщепляетесь, вы уже отпали из лона природы и, как бы вы ни действовали, вы на самом деле маленькая, жалкая былинка. Например, Наполеон, который движет царствами, но, поскольку он противопоставляет свое честолюбие, свой эгоизм, свою, якобы, герои-

ческую миссию, свою личность совокупному действу и старается преодолеть естественный ход истории, он оказывается смешным и жалким.

Поэтому Толстой заставляет Андрея (героя романа), в котором он изображает одну часть себя, мучительно в целом ряде переживаний понять, что честолюбие, жажда славы, жажда индивидуального счастья, все это—ложно и гибельно. Когда для Андрея это сделалось ясным, ему осталось только умереть, умереть, может быть, от отчаяния, что он от этого целого отпал.

Больше всего чувствует «целое» мужичок Каратаев, который всему подчиняется, все переносит, который, так сказать, плавает по поверхности жизненного потока, никого не задевая, и никто его не задевает. Характеризуя Каратаева, Толстой говорит: «Жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь, она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Каратаев не говорил так: «целое», «я», но он, как трава растет, как какая-нибудь утка на берегу крякает, ничего о себе не думал».

Но то, что Каратаеву доступно, человеку интеллигентному дается с трудом. Пьер Безухов приходит к каратаевскому приятию жизни с большими муками и огромными потрясениями. Но, придя к этому, он принял все, принял мир и радостно созерцал вокруг себя вечно непостижимую и бесконечную жизнь.

Таким образом Пьер Безухов,—в этом и заключается большая часть содержания романа, — путем всяких исканий и терзаний приходит к каратаевщине, разумно приходит к каратаевщине - не инстинктивно, стихийно, как сам Каратаев, а разумно, путем больших испытаний, треволнений. Он приходит к такому выводу: «Надо благословлять жизнь и повиноваться ее законам».

Может быть, это Ерошка? Герой рассказа Казаки» Ерошка тоже говорит: «Надо благословить жизнь и повиноваться ее законам». Но Ерошка считал жизнь как она есть чем-то божественным. Он говорил, что все создано по своим законам: и сила и борьба есть вещь благословенная.

У Ерошки было чисто языческое миросозерцание, в нем о правде и не спрашивалось. Пьер же не может так, Пьер говорит: «Нет, должна быть правда». Правда заключается в братстве людей, люди не должны бороться друг с другом. И спасти людей можно только путем проповеди. Пока немного есть спасенных людей, а нужно, чтобы все спаслись. Спасенный не хочет счастья только для себя, он охотно отдаст душу за других.

Вот, когда прекратится кровавая вражда между одними и другими, тогда окажется, что «божие дело» закончено, что все эти силы природы, вся эта мощь и красота есть вместе с тем правда и благо.

Вот миросозерцание романа. И все действующие лица показывают, как человек подходит или отхо-

дит от этой правды, за которой чувствуется бог, как думает Толстой. Примирение с этим богом, которое покупается ценою любви и самоотвержения, — это цель жизни. Мы, коммунисты, тоже не против согласия, мы тоже говорим: пускай будет мир и спокойствие на земле — и тогда человек обретет настоящее счастье.

Но когда мы, коммунисты, спрашиваем себя: а как это сделать? — то отвечаем, что сделать это можно только путем классовой борьбы, а Толстой эту борьбу отрицает. Он говорит: «Мир всему миру, обнимемся, братья». Мы знаем, что можно сколько угодно кричать красивые слова, но никто не обнимется. Будут попрежнему друг друга эксплоатировать. И мы знаем, что наша борьба непохожа на всякую другую, она представляет последнюю борьбу путем устранения классового общества, классового принципа Этого Толстой понять не мог и так умер, этого не поняв.

Все положительное в романе «Война и мир» — это протест против человеческого эгоизма, тщеславия, суеверия, стремление поднять человека до общечеловеческих интересов, до расширения своих симпатий, возвысить свою сердечную жизнь. Это все очень хорошо.

Переходим к роману «Анна Каренина», которому предпослан эпиграф: «Мне отмщение и аз воздам». Главная часть романа — судьба светской женщины Анны Карениной.

Толстой обрисовал Анну Каренину блистательнейшими красками, языческими, теми, коими он велик, он описал великолепную женщину. Все, что относится к наружности Анны Карениной, к ее молодости, порывающейся к любви, отвращение к старому, негодному, гнусавому мужу-чиновнику, ее жадное требование счастья, света, свободы, — все это настолько замечательно, что мы почти не замечаем социального момента в «Анне Карениной». Конечно, она просто красивая, молодая, полная жизни барыня, больше ничего. Несмотря на это, она для нас становится, прежде всего, живым существом, и она — прекрасное, жаждующее свободы животное, которое рвет, как умеет, цепи петербургской помещичьей, чиновничьей морали, и мы ей симпатизируем. Мы все, читатели, даже самые передовые, немножко влюбляемся в Каренину, все немножко завидуем Вронскому и ревнуем ее к нему.

Но вдруг что же оказывается? Вдруг оказывается, что она преступница, она для того, чтобы добиться своего счастья, должна была изменить мужу. Читатель нашего времени скажет: Да чем же она виновата? Сама природа создала ее здоровой, красивой. Ей нужна любовь. А она, в конце концов, наказана, притом не только внутренними угрызениями, но попадает под поезд, который ее убивает. И палачем оказывается бог: «Аз воздам». Описывается страшный сон Анны Карениной, как старичок возится с каким-то железом и что-то приготовляет. Как бы

сам господь бог железо свое приводит в действие, чтобы размозжить преступницу.

Но в чем же преступление? Не может все-таки Толстой стоять на той точке зрения, что раз она венчалась в церкви с отвратительным Карениным, то вследствие этого должна жить с ним до конца. А иначе-де, человек, ты подлежишь колесованию!

Нет, смысл у Толстого иной: он нарочно на один момент преображает чиновника Каренина. На один момент у этого сухого бюрократа проявляется чисто петербургского пошиба немецко-сектантская религиозность, маленькая струйка божественной морали под влиянием страданья, как бы, в сущности, общественного страдания: «жена рога наставила, с ребенком бросила». Каренин начинает говорить слова такие: «Да я тебе все прощу, я тебя люблю, я готов страдать, готов принести себя в жертву» — и т. д. Это сделано очень искусно. Это не делает Каренина ходульной или ложной личностью. Подобный момент у подобного человека может быть. Он с невероятной правдивостью изображен Толстым. Он изображает изумительно момент, когда в первый раз Каренин говорит о своих страданиях и запутывается: «я так пелестрадал». Это «пе-ле»... пронзает душу Анны, потому что она видит в нем старичка, почти ребенка, который лепечет, не может со словами совладеть. Толстой хочет и нас и Каренину ухватить за жалость по отношению, в сущности говоря, к бездушному, сухому бюрократу,

селедке в вицмундире. Толстой опять играет свою любимую песню против Ерошки, против «Живи вовсю и до дна», за «Осторожно, как бы кого не поранить».

Толстому хочется повторить проповедь «Войны и мира». Ему хочется сказать: Ты живи так, чтобы никому не причинить страданий. Если тебе самому нельзя добиться счастья иначе, как отдавив кому-то лапу, — откажись от своего счастья».

Видите, какая, в сущности говоря, контрреволюционнейшая теория. Она контрреволюционная не только потому, что тогда и о целом классе нужно то же самое сказать: нельзя добиваться своего счастья, если это можно сделать лишь ценою борьбы, крови, страдания. Но даже поскольку говорить об отдельной здоровой, молодой индивидуальности, то можно ли сказать, что ты-де не смеешь добиваться своего счастья, если кто-то от этого может страдать? Нельзя страдания людей, совершенно неценных, людей совершенно ненужных, ставить в качестве страшного барьера для себя.

Мы возмущаемся против бога, который заявляет: «Аз воздам». Мы каждой Карениной, если бы она была нашим товарищем по классу, да и просто женщиной, говорим: «Имеешь право на счастье, рвись к свету, к воле, не бойся, ни под какие колеса не попадешь!»

Характерно то, как другая часть этого романа изображает искания Левина, как он старается, этот

добрый помещик, сделать так, чтобы разумную жизнь устроить и никого не задеть, но кончает тем, чем Толстой в течение многих лет жил, кончает глубоко обывательской и помещичьей доктриной. Надо заботиться о себе и о своем семействе. Нужно строить разумную, счастливую жизнь, однако, чтобы она была общественно полезной и чтобы никого, по возможности, не обижать.

Как относиться к толстовской святости и самоотречению? Мы этому противополагаем нашу влюбленность в жизнь, наше желание завоевать жизнь, устроить жизнь, очеловечить жизнь, заставить ее служить нам во всем реализме наших требований и заложенных в нас возможностей Мы не за то, чтобы сужать, а за то, чтобы расширить ее. Толстой говорит: «Капитализм строит Вавилонский столп, но, конечно, бог смешает языки и заставит драться между собою».

Так что же? Отказаться строить «столп», т.-е. городскую культуру, вернуться в свои лачуги. Нет, мы продолжаем строить этот столп через накопление богатства, через науку, через технику, и мы знаем, что существует сила, которая спаивает вновь тех, которые распались на разные языки. У нас есть один язык, который говорит: «Пролетарии всех наций, соединяйтесь!»

Вы спросите меня: В таком случае Ленин, повидимому, ошибся, когда говорил, что вечно и навсегда Толстой будет дорог нам? — Нет. Перечислим, что

же ценного для нас в Толстом. Во-первых, исполинское изображение жизни как по содержанию, которое захватывает громаднейшей глубиной, так и по исполнению, по необыкновенному сочетанию художественности и простоты. В этом смысле он остается для нас учителем.

Во-вторых, острейшая критика против звериных свойств жизни. Вряд ли у какого-нибудь писателя можно найти такой постоянный, сосредоточенный, острый протест против всякой несправедливости и против всех форм угнетения человека человеком. В этом Толстой наш союзник.

И его страшная жажда правды, любви, согласия, которые он в таких чудесных словах умеет выразить, это все наша задача. Мы тоже жаждем этого. Мы знаем, что нельзя добиться этого самоотречением. Но это н а ш идеал, и поскольку он к этому идеалу зовет чистым, громким голосом, он наш брат, наш учитель.

И марксизм, рассеивая толстовские туманы, вовсе этим самым не говорит, как не говорит этого и Ленин: Сожжем же сочинения Толстого или оставим их в пренебрежении для червей, для профессоров, которые будут их изучать. Нет, напротив, мы говорим Толстому: ты пророк нашего крестьянства, его идеолог со всеми его великими положительными и со всеми отрицательными сторонами.

ЛЕНИН И РАСКОЛЬНИКОВ О ТОЛСТОМ.

Издательство «Огонек», подготовляя полное собрание художественных произведений Толстого обратилось ко мне с просьбой дать к нему предисловие. Я ответил на это, что предисловие писать не могу, ибо страшно занят (в то время особенно был занят) и просил их обратиться к кому-нибудь другому. Тогда издательство заявило мне, что оно вполне удовлетворилось бы, если бы я позволил ему напечатать в виде предисловия стенограмму моей лекции о Толстом, прочтенной в курсе истории русской литературы в Свердловском университете. Особенного удовольствия предложение это мне не доставило, тем более, что я не мог даже как следует просмотреть текст, при том еще стенографически записанный. Но просьбе издательства я уступил, и так появилось мое предисловие, напечатанное в первом томе полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в издании «Огонька».

Это предисловие — или, вернее, не предисловие, а три последние строчки в нем, вызвали большое

негодование среди части товарищей, считающих, что я идеализирую в этом предисловии Толстого. Не говоря о тов. Ольминском, яростном враге толстовства, перепрыгнувшего в этой ярости все границы благоразумия и ставшего в самое яркое противоречие с оценкой Толстого Лениным, несмотря на постоянные ссылки на нашего учителя, особенно резкую отповедь дал мне тов. Раскольников.

Если бы тов. Раскольников сказал, что у меня есть нюанс, в котором сильно звучит любовь к положительным сторонам Толстого, что я, допустим (хотя я этого не считаю), преувеличил ценность для нас Толстого, тогда, конечно, на статью тов. Раскольникова можно было бы не отвечать. Я стою на той точке зрения, что мы, коммунисты, имеем право на известные нюансы по отношению к главному руслу партийной мысли, что мы в вопросах литературы должны строго держаться ее камертона, но, разумеется, мы, коммунисты, не имеем права искажать мысли наших учителей и, вопреки предостережению Ленина, который идеализацию известных сторон Толстого считал крайне вредной, заниматься именно этим делом. А тов. Раскольников обвиняет меня как раз в такого рода преступлении, которое он даже называет «чудовищным».

Очень жалею, что в своей статье тов. Раскольников нисколько не позаботился о том, чтобы хоть как нибудь разобраться во всем моем преди-

словии, занимающем 20 страниц. Критика его сосредоточивается только на трех последних строках. Я имею все основания предполагать, что тов. Раскольников не читал или очень невнимательно прочел мое предисловие, иначе он знал бы, что все цитаты, которые он приводит в своей статье из Ленина, приведены и мною. Он увидел бы и то, что мои оценки политического облика Толстого совершенно точно совпадают с оценками Ленина. Вероятно, при этих условиях, он не придал бы такого значения трем последним строкам. Но допустим, что я не написал о Толстом этих 20 страниц, ни моей брошюры «Толстой и Маркс», где Толстому дается во многом в весьма резкой форме выраженная отрицательная оценка. Допустим, что я написал только три строчки, которые мне инкриминируют. Прав ли по отношению к ним тов. Раскольников в своем «партийном негодовании»? Прав ли он, что я совершенно не понял точки зрения Ленина? Вот что пишет по этому поводу тов. Раскольников:

«— Толстой — выразитель идей и настроений», — говорит Ленин.

— Нет, идеолог и пророк, — поправляет его Луначарский.

— Русского крестьянства... — продолжает Ленин.

— Нет, части революционного крестьянства, — снова вносит поправку тов. Луначарский.

— Узкого исторического периода с 1861 по 1905 г., — заканчивает свой тезис Ленин.

— Нет, крестьянства вообще, в том числе современного крестьянства СССР, — продолжает т. Луначарский».

Итак, первое, я не должен был называть Толстого идеологом крестьянства. Толстой был только выразителем идей и настроений крестьянства.

Покорнейше прошу извинить меня, дорогой тов. Раскольников, «идеолог» это и значит выразитель идей и настроений, не больше, не меньше, совершенно точно.

Далее я обвиняюсь в том, что считаю Толстого выразителем не всего русского крестьянства, как как якобы говорил Ленин, а части революционного крестьянства. Другими словами, Ленин, очевидно, склонен был утверждать, что крестьяне, готовые положить живот свой за батюшку-царя и послушно следующие за попами, представляют из себя также ту массу, «выразителем идей и настроений» которой был Толстой. Конечно, такого вздора Ленин никогда говорить не мог. А всякому известно, что не только тогда, но даже и теперь количество послушных церкви и монархически настроенных крестьян среди кулаков и даже среди верхнего слоя середняков — довольно велико. Ленин умел очень точно выражаться. Что же мы видим в ленинских текстах? Вот, например, сказано на странице 22 брошюры, изданной тов. Раскольниковым: «Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов рус-

ского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, вредных, как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции». Итак, Толстой выражает особенности нашей революции и именно крестьянской революции. Можно ли что-нибудь возразить против этих совершенно ясных строк? Или возьмите такую цитату (на стр. 28—29): «Критика Толстого потому отличается такой силою чувства, такой страстностью, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в стремлении «дойти до корня», найти настоящую причину бедствий масс, что эта критика действительно выражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые только-что вышли на свободу из крепостного права и увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездомной жизни среди городских «хитровцев» и т. д. Толстой отражает их настроение так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, «непротивление злу», бессильные проклятия по адресу капитализма и «власти денег». Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого». Как видите, Толстой оказывается выразителем протеста миллионов крестьян. Все ли крестьяне действительно были заражены этим протестом? Нет, неко-

торая, относительно более активная часть, которая, однако, сама была поражена той проклятой крестьянской пассивностью, которая исказила и проповедь Толстого. Лишь позднее проявились в крестьянстве и гораздо более яркие революционные течения, которые, конечно, далеко ушли от толстовства.

На 31 странице брошюры мы видим, как Ленин доказывает, что революция наша до 1905 года включительно была крестьянской и буржуазной революцией, что «об'ективные условия выдвинули на арену более или менее самостоятельного исторического действия крестьянские массы». И тут же Ленин прибавляет: «В произведениях Толстого выразились и сила и слабость, и мощь и ограниченность именно крестьянского массового движения».

Из этих цитат вы ясно видите, что Ленин, не делая себе иллюзий относительно характера этой большой моральной, возмущающейся, критикующей революции, революции, не умеющей ответить силою на насилие, тем не менее говорит о Толстом, как «о выразителе крестьянской революции». Здесь, стало быть, никакой погрешности у меня нет.

Ленин, конечно, говорит о русской революции периода 1861—1905 гг., ибо он считает этот период периодом буржуазной революции. Дальше на арену выступает пролетариат. Крестьянство становится к этому пролетариату в новые отношения. В боль-

шей своей части оно признает в нем гегемона. Значит ли это, что все крестьянство стало на революционные позиции не только после 1905 г., но даже после 1917 г., даже теперь? Тов. Раскольников в весьма партийно-патриотическом духе восклицает: «На самом деле у батраков и бедняков крестьян Советского Союза, также как и у рабочего класса, нет иного идеолога, кроме Всесоюзной Коммунистической Партии». Ну, знаете, тов. Раскольников, вам не мешало бы вспомнить, что крестьянство состоит не только из батраков и бедняков, но и из середняков также, не говоря уже о кулаках. Не мешало бы вам также вспомнить, что именно сейчас все газеты переполнены указаниями на чрезвычайную еще силу религиозных предрассудков в нашей стране. 40% детей кончают школу религиозными людьми. Громадное движение сектантства идет по стране. А вы когда-нибудь прислушивались к сектантам, тов. Раскольников? Если бы вы это сделали, вы поняли бы, как близки они к идеям Толстого и как часто они прямо опираются на Толстого.

Не стоило бы особенно воевать с Толстым с его загробным влиянием, если бы не знали, что это сильный враг, ибо и сейчас он не может не оставаться идеологом и пророком крестьянства, хотя, конечно, далеко не всего. Можем ли мы хотя на минуту забыть двойственность натуры крестьян, о которой так ярко говорил нам

Ленин? Можем ли мы забыть, что нам приходится бороться за «душу» крестьянина со всевозможными влияниями? И надо помнить, тов. Раскольников, что толстовское влияние, которое может помогать оформлению нашей религиозной «реформы», как раз чрезвычайно близко духу крестьянства. Толстой на наших глазах в известной мере воскресает, как идеолог крестьянства, именно тех кулацких и середняцких слоев, которые увлекаются евангелием и евангелизмом и всеми, напоминающими духоборство, религиозными сектами. Это крестьянство против попов, это крестьянство республиканское, это крестьянство было бы революционным (правда, с большею примесью пассивности) в старые времена. Теперь, разумеется, при свете пролетарской революции оно контрреволюционно. С наивным оптимизмом утверждая, что в настоящее время коммунистическая партия единственный идеолог крестьян, также как и рабочего класса, тов. Раскольников, воображая, что он этим свидетельствует о своем стопроцентном коммунизме, на самом деле говорит вещи вредные, хотя и восторженные. В доказательство того, насколько точно определял я специфическую крестьянскую революционность, приведу одну цитату из моего предисловия: «Когда крестьяне дошли до идеи протеста, когда вообще крестьянская мысль, возбужденная, начинает раздумывать над своей судьбой, она охотно берется за толстовство. Разве мы этого не знаем, например, что

духоборы другими путями, чем Толстой, пришли абсолютно к тому же учению? Духоборы — это революционная крестьянская аристократия. В то же время «революция без революции», моральная только революция, революция без насилия и т. д., она представляет собою подлинное тождество с учением Толстого. Это лучшее доказательство того, что Толстой действительно был идеологом этой части крестьянства. Но я уже отмечал, какой части революционного крестьянства: той, которая на последовательную революцию путем противопоставления силы силе неспособна».

Но остается еще одно обвинение в слове «пророк». Тут я действительно виноват. Мои слушатели в Свердловском университете прекрасно знали, что такое пророк. Я это им подробно об'яснил и они понимали поэтому, как клеится это определение с такими, например, словами Ленина: «Есть социализм и социализм. Во всех странах с капиталистическим способом производства есть социализм, выражающий идеологию класса, идущего на смену буржуазии, и есть социализм, соответствующий идеологии классов, которым идет на смену буржуазия». Для того, чтобы не оставить в этом никаких сомнений я привожу довольно длинную цитату из моей статьи «Толстой и Маркс», где оправдание применения слова «пророк к Толстому приводится полностью. Совершенно смешно заявление, что слово «пророк» вообще неприемлемо

в устах марксистов. Это свидетельствует только о некотором невежестве говорящих такие вещи. Слово пророк, оно может выражать собою определение исторического явления и именно как раз к реакционной революционности, замечательный литературный образец которой заключен в пророческих книгах библии. Не напрасно называют Толстого пророком — он в высокой степени похож на пророков библейских, потому что он является, несмотря на тысячелетия, отделяющие его от пророков, повторением их, поскольку повторяются те же самые условия.

Чем об'ясняется появление этих народных трибунов — библейских пророков, начиная со сказочных образов Ильи и Елисея и т. д., до пророков, ближайших к нашей эре? Оно об'ясняется тем, что еврейский народ, первоначально номадный, потом постепенно осевший и превратившийся в земледельческий, подвергся воздействию окружающей культуры, был втянут, с одной стороны, в естественный процесс концентрации земель, которая всегда происходит в земледельческом быту, а с другой стороны, в широкий торговый оборот, и стал расслояться. В еврействе появилась аристократия, сложившая постепенно монархический образ правления и нажившаяся за счет беднейших братьев. Она перенимала нравы торгово-земледельческих стран и вместе с тем ту религию, которая соответствовала этому земледельческо-торговому быту, религию Средней Азии, Ваалов и Астарт (Иштар),

со всей относящейся сюда пышностью и развращенностью, чрезвычайно заманчивой и увлекательной для людей обеспеченных и представлявшей собою много культурной красоты, много пышности и виртуозности ритуалов.

Еврейские богачи увлекались этой пышной стороной «языческой» религии и отходили от первобытной простоты. Одновременно с этим шло «пожирание домов вдов и сирот», проникновение пышности «пурпура и виссона», винопития и разного рода араматов, золотых украшений и т. д., культа женской красоты, грации, сладострастия, отступления к чужеземным богам. Все это была характеристика противоположного класса—зарождающегося капитализма, но капитализма очень первобытного, торгового, о подлинном, индустриальном капитализме не могло быть и речи. И вот республика номадов, скотоводческая масса, резко протестует против этого нового, гнетущего ее порядка. Лучшие люди выступают с прямым политическим протестом. Низы протестуют против нравов господствующего класса; они резко его осуждают; они заявляют, что старина с ее относительным равенством, с ее добрососедскими отношениями и всей простотой быта, который был ей свойственен, есть единственное рациональное и что-де наш бог Ягве, национальный бог, военный бог союза племен, каким был древний Израиль, благословляет эту правду, а все другое — отступничество от него.

За бога пророки хватались потому, что по тогдашним временам слово человеческое ничто не могло значить: не ораторы выступали перед народом, а одержимые, в полуэпилептическом трансе провозглашавшие какие-то чудодейственные слова, в которых видели говорящего через них духа. Иначе нельзя было действовать на массы; все принималось в аспекте анимизма, воздействия на жизнь незримой, но мощной силы.

Это было серьезным протестом. В чем он заключался? В защите существующего, даже в стремлении повернуть колесо истории назад. Но при этом, независимо от ссылки на бога, нужно было анализировать это прошлое, нужно было его прославить, представить в более сладостных и достохвальных чертах, а следовательно, нужно было превратить его в идеал, нужно было поставить его не позади себя, а отнести вперед, т.-е. прежний порядок, который кажется желанным, в идеализированном, освященном виде нужно было поставить как идеал, к которому должно стремиться.

Этим идеалом было мелко-буржуазное, мелко-мещанское, мелко-крестьянское довольство, когда каждый под кущей, под своей смоковницей, каждый питающийся от трудов своих рук, находился бы в полных добрососедских отношениях ко всем живущим вокруг горы Сиона, а в силу этого воцарились бы божья правда и благосостояние, о каких бы социалистических идеях и проектах пророки ни

говорили; да откуда бы их взять? Они говорили о равенстве, о парцелляризме, небольших хозяйствах. Это был кулацкий идеал, но кулацкий идеал в высшей степени развернутый, кулацкий не не в смысле эксплоатации, а в смысле идеализации крепких хозяйчиков. Им кажется, что, когда они будут жить в довольстве и добрососедских отношениях, то это будет равносильно перевороту на всем земном шаре: даже волк может пастись вместе с ягненком, лев не тронет младенца и т. д., тогда мир охватит всю землю. Добрососедские отношения мирно живущих своим трудом обывателей провозглашаются, как основная, единая, незыблемая, важная и божественная правда.

Присмотримся с этой стороны к толстовству как к социальному учению. Мы сразу увидим, что толстовство это как раз такой пророческий взгляд на вещи, если разуметь под пророками именно трибунов реакции, революционеров реакционных, т.-е. людей, которые революционно поднимают знамя бунта против капитализма, но не во имя грядущего, а во имя прошлого, которое в преображенном виде проектируется вперед, как будущее».

Когда Ленин был свидетелем, 17 лет тому назад, глупого свистопляса интеллигенции вокруг толстовства, он разразился своей известной тирадой: «В наши дни всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его «непротивленства», его апелляций к «Духу», его призывов

к «нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «совести» и «всеобщей любви», его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносит самый непосредственный и самый глубокий вред». Прошу заметить, что даже здесь говорится об идеализации учения Толстого, а не Толстого в целом, таких пунктов этого учения, как «непротивленство, дух, совесть, любовь, аскетизм и квиетизм». Должен, прежде всего, заявить, что, даже в лупу рассматривая все, что я писал о Толстом, никто не найдет даже малейшей идеализации этих вредных сторон учения Толстого, с которыми я всегда боролся и буду бороться и, как мне кажется, не менее сильно, чем тов. Раскольников.

Но отсюда делается вывод об отрицательном отношении к Толстому в целом, об отрицательном отношении к нему сплошь. Не говорил ли где-нибудь Ленин про другие наши дни, именно про те дни, в которые мы сейчас живем? Говорил и говорил совершенно точно: «Толстой - художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против того общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, — нужен социалистический переворот. И Толстой не только дал художественные произведения, которые всегда будут ценимы и читаемы массами, когда они создадут

себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капиталистов, — он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс». В своем предисловии я по этому поводу писал: «Вот как смотрит на Толстого Ленин. Он считает, что его произведения будут всегда ценимы и читаемы массами, что они особенно будут дороги массам, когда массы создадут себе человеческие условия, что социализм сделается предпосылкой того, чтобы Толстой был доступен всем.

Вы можете, как Денике спорит с Марксом, спорить с Лениным, но он сказал именно так».

В этом есть полное осуждение точки зрения тов. Ольминского, в этом есть и много поучительного для тов. Раскольникова, в этом нет никакого противоречия от многогранной, многоохватывающей точкой зрения Ленина на Толстого.

Не беда еще, если бы мы только идейно атаковали Толстого по поводу его юбилея, преувеличивая иногда эти атаки и сердясь на тех, кто удерживает ленинское равновесие перед Толстым и не затушевывает его величия и его положительных сторон. Но поветрие заменять объективный подход к Толстому придирками и полемикой мелкого разбора, повидимому, может исказить лицо нашего юбилея. Хотя юбилей и есть чествование но мы, марксисты, конечно, будем чествовать Толстого по своему, по ленински. И ленинские

статьи о Толстом остаются в высшей мере почетными для Толстого. Прекрасно, что они вновь и вновь издаются к юбилею Толстого, например в великолепном издании Комакадемии.

Но вот когда в таком распространенном журнале, как «Прожектор», под широким названием «Лев Толстой в Ясной Поляне» А. Дроздов собирает крошки в его бороде и подбирает всякие слухи и росказни, которые даже не могут быть проверены, и сплетает их в букет из крапивы и чертополоха, то это уже непристойно. С вашими, собранными у окрестных кумушек, росказнями, в которых, может быть, и есть крошка правды, а может быть и нет, но которые у вас, тов. Дроздов, повидимому, не поднимаются выше сплетен о мелочах, вы можете выступать где-нибудь, но, пожалуйста, подальше от юбилея. Зачем вы и без того сложную нашу работу, которую мы должны выполнить по отношению к юбилею человека, являющегося одновременно дорогим нам писателем и политическим врагом, портить еще, шмыгая в огромной толпе собравшихся и рассказывая «с курицей ли ел бульон Толстой», «доносил ли он ведра с водой до дому или не доносил».

Я не сомневаюсь, что под руководством Ленина мы легко найдем правильный тон. Я считаю также, что если вокруг этого правильного тона будут некоторые отступления вверх или вниз, некоторые небольшие индивидуальные вариации, в этом беды нет.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Предисловие 3

Толстой и Маркс 5

К предстоящему чествованию Л. Н. Толстого 53

Ленин о Толстом 62

Л. Н. Толстой 70

Толстой—художник 80

О творчестве Толстого 89

Ленин и Раскольников о Толстом 125

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР

К 100-летнему юбилею Л. Н. ТОЛСТОГО

ВЫПУСКАЕТ

ЮБИЛЕЙНОЕ ПЕРВОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Л. Н. ТОЛСТОГО

Прибли.з. объем —90 т. в коленкоровых переплетах с золотым тиснением.

ИЗДАНИЕ ПРЕДПРИНЯТО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР ОТ 23 ИЮНЯ 1925 г.

Под общим наблюдением **Государственной Редакционной Коллегии**, состоящей из **А. В. Луначарского, М. Н. Покровского, В. Д. Бонч-Бруевича и Н. Н. Скворцова-Степанова.**

Под руководством Редакторского Комитета в составе: **В. Г. Черткова** (председатель), **А. Е. Грузинского, Н. Н. Гусева, Н. К. Пиксанова, Н. Н. Сакулина, А. Л. Толстой, М. Я. Цявловского, К. С. Шохор-Троцкого,** при сотрудничестве: П. Н. Апостолова, П. И. Бирюкова, Н. Л. Бродского, Л. П. Гроссмана, Н. К. Гудзия, Н. Н. Киселева, Н. М. Мендельсона, М. В. Муратова, А. С. Петровского, В. Ф. Саводника, Б. М. Эйхенбаума и др.

Это собрание сочинений **Л. Н. Толстого** будет первым действительно полным собранием и будет заключать все художественные как опубликованные, так и неопубликованные произведения **Л. Н. Толстого** со всеми вариантами, все теоретические труды (вместе с неопубликованными), все дневники, писанные им с конца 40-х годов (с известными перерывами) до последних дней, записные книжки, а также богатейшее эпистолярное наследие **Л. Н. Толстого.**

Издание дает полный критически-выверенный и комментированный текст писаний **Л. Н. Толстого.**

Все тома будут снабжены необходимыми комментариями, описаниями рукописей, библиографическими указаниями и иллюстративным материалом. Факсимиле с рукописей и первопечатных изданий **Л. Н. Толстого,** его портретов, карт, генеалогических таблиц и пр.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Задаток — **10 руб.** При получении каждого тома в переплете— **5 руб.** Высылка книг наложенным платежом. Задаток засчитывается при получении последних 2-х томов. **Пересылка за счет подписчика.**

Заказы принимаются Главной Конторой Подписных и Переодических Изданий Госиздата. Москва, Центр, Ильинка, 3, тел. 4-87-19; Ленинград, Пр. 25 Октября, 28, тел. 5-48-05, в отделениях и филиалах и уполномоченными, снабженными соответствующими удостоверениями.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

КУБИКОВ, И. Н.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Стр. 149 Ц. 1 р. 10 к.

КИРЕЕВ, Д.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Жизнь, литературная деятельность, миросозерцание

Стр. 63 Ц. 25 к.

БОНДАРЕВ, Д. А.

ТОЛСТОЙ и СОВРЕМЕННОСТЬ

Главполитпросвет

Стр. 96 Ц. 75 к.

МАСЛЕННИКОВ, М. и АГЕЕНКО, А.

Юбилей Л. Н. ТОЛСТОГО в избе-читальне

Главполитпросвет

Стр. 64 Ц. 30 к.

БАЛУХАТЫЙ, С. и ПИСЕМСКАЯ, О.

СПРАВОЧНИК по ТОЛСТОМУ

Даты жизни и творчества, хронология и систематика сочинений, библиография

Стр. 133 Ц. 70 к.

ИЗДАНИЯ ИЗ-ВА «ФЕДЕРАЦИЯ»

ШКЛОВСКИЙ, В. Материалы и стиль в романе Л. Н. ТОЛСТОГО «Война и Мир». С 12 рис. Стр. 256. Ц. в/п. 3 р. 50 к.

ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ, В. От усадьбы к избе. ЛЕВ ТОЛСТОЙ, 1828—1928. Стр. 288. Ц. в/п. 3 р.

ТОЛСТОЙ, С. Л. Дед и мать Л. Н. ТОЛСТОГО. Очерки жизни, дневники, записки и письма по неизданным материалам, с 3-мя портретами. Стр. 160. Ц. в|п. 1 р. 75 к.

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Неизданные художественные произведения, со вступительными статьями А. ГРУЗИНСКОГО и В. Ф. САВОДНИКА. Стр. 342. Ц. 1 р. 50 к. в|п., 1 р. 80 к.

ПРОДАЖА во всех МАГАЗИНАХ ГОСИЗДАТА и КИОСКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

О ТОЛСТОМ

Литературно-критический сборник. Под ред.

В. М. ФРИЧЕ. Ц. 2 р. 75 к. в кол. переп. 3 р. 50 к.

В. И. Ленин. Л. Н. Толстой как зеркало русской революции. — **В. И. Ленин.** Л. Н. Толстой. **В. И. Ленин.** Лев Толстой и современное рабочее движение. — **В. И. Ленин.** Герои «оговорочки». — **В. И. Ленин.** Л. Н. Толстой и его эпоха. — **Г. В. Плеханов.** Толстой и природа. — **Г. В. Плеханов.** Отсюда и досюда. — **Г. В. Плеханов.** Смешение представлений. — **Г. В. Плеханов.** Карл Маркс и Лев Толстой. — **Г. В. Плеханов.** Еще о Толстом. — **Роза Люксембург.** Лев Толстой. — **І. Аксельрод (Ортодокс).** Духовная трагедия Л. Н. Толстого, как основа его вероучения. — **І. Аксельрод (Ортодокс).** «Воскресение». — **І. Аксельрод (Ортодокс).** Лев Толстой и социал-демократия. — **І. Аксельрод (Ортодокс).** Посмертные произведения Л. Н. Толстого. — **А. В. Луначарский.** Толстой и Маркс. — **П. Нанов.** Л. Н. Толстой. — **В. М. Фриче.** Толстой. — **Мартынов.** Лев Толстой как памятник исторического прошлого.

Ленин о Л. Толстом. Сборник статей. Составил П. М. Ташкаров. Предисловие Ф. Ф. Раскольникова. Стр. 61. Ц. 25 к.

Предисловие Ф. Ф. Раскольникова: Ленин о Толстом.—Автограф В. Ленина (2 страницы статьи «Лев Толстой как зеркало русской революции»).—Лев Толстой как зеркало русской революции.—Л. Н. Толстой и современное рабочее движение.—Л. Н. Толстой.—Л. Н. Толстой в оценке оппортунистов.—Л. Н. Толстой и его эпоха.—Примечания.

Ленин В. И. О Льве Толстом. (Ленинская библиотека). Стр. 22. Ц. 8 к.

Лев Толстой как зеркало русской революции.—Л. Толстой (на смерть Толстого).—Л. Н. Толстой и его эпоха.

Бор. Волин. Лев Толстой в оценке В. И. Ленина. Стр. 29. Ц. 20 к.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ: ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА

Москва, Центр, Богоявленский пер., 4, тел. 2-65-31 и 5-50-80.

Ленинград, Ленотгиз, Пр. 25 Октября, 28, телеф. 5-34-18

ВО ВСЕ МАГАЗИНЫ И ОТДЕЛЕНИЯ ГОСИЗДАТА РСФСР.

Москва, Центр, Госиздат. Ленинград, Госиздат. Ростов н/Д., Госиздат. Казань, Госиздат РСФСР. Харьков, Госиздат РСФСР.

cu15/50